

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Литературный альманах

№ 2

Саратов
2014

УДК 882-1
ББК 84(2)
В80

В80 Впечатления: Литературный альманах
№2. – Саратов: Издательство «Кубик»,
2014. – 200 с.

ISBN 978-5-91818-405-9

© Издательство «Кубик», 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ

| | |
|---|---|
| Игорь Алексеев. Мы уже никогда не умрём. Стихотворения..... | 5 |
|---|---|

ПРОЗА

| | |
|--|----|
| Иван Шульпин. Рассказы | 14 |
| Валерий Володин. Усталые шаги. Рассказы | 54 |

ПОЭЗИЯ

| | |
|---|----|
| Светлана Кекова. И истоптаны ягоды в точиле за городом. Стихотворения..... | 66 |
|---|----|

ПРОЗА

| | |
|--|----|
| Я. Удин. Хорошие времена. Затравки..... | 76 |
|--|----|

ПОЭЗИЯ

| | |
|---|-----|
| Марина Бирюкова. Стихотворения | 117 |
|---|-----|

ПРОЗА

| | |
|---|-----|
| Николай Болкунов. Под дубом. Рассказ | 125 |
|---|-----|

Виктор Бирюлин. **На солнечной стороне.** Эссе.

Обычная жизнь, обычные люди.

| | |
|---------------------|-----|
| Короткая проза..... | 137 |
|---------------------|-----|

ПОЭЗИЯ

| | |
|--|-----|
| Валерий Кремер. Стихотворения | 159 |
|--|-----|

ПУБЛИЦИСТИКА

Иван Васильцов.

| | |
|--|-----|
| Беклемишевский остров. Очерк..... | 171 |
|--|-----|

| | |
|--|-----|
| Юрий Сидоренко. Русский виноград. Очерк | 188 |
|--|-----|

ПОЭЗИЯ

16 января Игорю Алексееву исполнилось бы 55 лет. Он был красавцем-мужчиной, косая сажень в плечах. Любил эпатировать публику, оставаясь при этом тонким, ранимым, лиричным и добрым человеком. Врач, строитель, знаток военной и мирной техники, хороший рисовальщик. И удивительно нежный муж, заботливый отец трёх прекрасных дочерей.

Первая книга его стихов «Желтая тетрадь» вышла в 2002 году. Но гораздо раньше, в 1990 году, в Саратове вышел сборник шестерых авторов с общим названием «Распев». Свою большую подборку «Погода на февраль» Игорь всегда считал отдельной книгой. Потом были «Командир Пентагона» (2003), «Русский день» (2004), «Трамвай живых» (2006) и «Если дорога» (2008). Ещё Игорь издал книгу малой прозы «Как умирают слоны» (2007), «Сказки Игоря Алексеева» (2007), опубликовал повесть «Страх, который меня убил» (2007), завершил сценарий к фильму, составил план автобиографического романа. Он с удовольствием участвовал в различных артистических проектах, много печатался в ведущих журналах страны, в 2006 году стал победителем конкурса им. Н.С. Гумилёва...

Игорь боролся за жизнь до конца, и когда от него отвернулись все местные медицинские светила, он, обескровленный, после долгих месяцев молчания, написал стихотворение с посвящением младшей дочери «Я поеду в Москву». Когда чита-

*ешь его, невольно перехватывает дыхание и дождь
пробивается в уголках многих глаз.*

Андрей Руфанов (Сокульский)

Игорь Алексеев

МЫ УЖЕ НИКОГДА НЕ УМРЁМ

Воспалённые слёзы утешь.
Отщептавшие письма не рви.
В этом городе ветхих надежд
Невозможно прожить без любви.
Ты в окно посмотри наугад.
Там распахнутый мается двор.
Там теряет листву виноград.
Словно рушится красный забор.
Главный врач средне-волжских широт
вновь меняет зелёнку на йод.
А на небе один самолёт.
А на небе другой самолёт.
Ты случайную кофту надень.
Засвисти посреди тишины.
Будто нету убитых людей.
Будто нету гражданской войны.
Кошка глупая кресло когтит.
Мимо сонная муха ползёт.
А один самолёт долетит.
А другой самолёт упадёт.

Есть время, но всё же проедусь.
С талончиком в левой руке
я сяду в усатый троллейбус,
в светящийся белый троллейбус,
в промёрзший до дрожи троллейбус,
до инея на потолке.

Мне стоит в дверях появиться —
я буду, как ребус, решён.

Посмотрит торговая львица,
мужчина с гербами в петлицах
и в красных «бананах» девица
и молча отметят: пижон.

Но только простите меня,
я еду дежурить в больницу,
в ночную, глухую больницу,
кому-то в дежурной больнице
я буду нужней, чем родня.

Меня этот искренний кто-то
узнает, и шёпот пойдёт,
что Игорь Геннадьевич, доктор,
тот Игорь Геннадьевич, доктор,
да, Игорь Геннадьевич, доктор,
уже начинает обход.

И кто предупредит тебя, как брата,
когда удел — скитаться без угла:
земля не просто несколько поката —
земля катастрофически кругла!

В её ночной, дневной ли половине
всё тот же отблеск тверди и воды.
И на пути к загадочной вершине
Ты попадаешь в старые следы.

Таких красивых баб в Саратове штук пять.
Или четыре, нет, три, две, одна такая!
Как оказалась ты на кольцевой трамвая?
Нет денег на такси? Есть повод казнь принять?
Намного всё же ты, чем кажешься, старей.
Нечёткий маникюр, морщинки, подбородок.
Но так ты далека от остальных уродок!
Как далека Москва от этих фонарей.
Твой чёрный лимузин ржавеет в гараже.
В чужих домах живёт твоих служанок стая.
Пожалуйста, уйди! Уйди, не жди трамвая —
Нет времени уже, нет времени уже...

Романс

Ты не могла бы мне перезвонить?
Я еду, скоро выскочу из зоны
Охвата. Это веские резоны,
Чтоб оборвать связующую нить,
И этот невесёлый разговор
Об очевидных признаках распада,
О бесконечных поворотах ада,
в которых мы кружимся до сих пор.
Дышал большак, наглена шоферня.
Бежал лесок, текла недвижно Волга.
Я говорил ещё довольно долго.
Но ты уже не слышала меня.

Андрею Сокульскому

Это снеговоздушная смесь
Не горчит и вставляет не сразу.
Я тобой обронённую фразу
Повторяю: мы всё ещё здесь.
Да, мы здесь, наша участь страшна.
Мы раздавлены этой эпохой.
Но мы здесь. Нам с тобою не по...
Этот город и эта страна.
Слышат сквер, и площадка для игр,
И каштан, что могуч и разлапист,
Мой стальной, безззорный анапест,
Твой серебряный, чистый верлибр.
Да, мы всё ещё здесь. Тем острее
Прорезаются грани предмета.
Чем Отчизна щедрa для поэта?
Так вот всё повернулось, Андрей.
Что шмотьё? Что монета в горсти?
Что понты и хмельная бравада?
Ничего человеку не надо,
Кроме тихого слова: прости...
К сорока, к сорока четырём
Боль затокала в порванной жиле.
Только смерть мы уже пережили.
Мы уже никогда не умрём.

Возвращаясь на голос, как птица слепая,
попадаешь в силки бытовой истерии.

Избегаешь, минуешь... И вновь приступая
к описанию пологих холмов Киммерии,
произносишь банальность. И каждое слово
дребезжит, провисает, искрит при касанье.
Не усердствуй, поскольку не будет иного.
Будет неуд по чисто— и правописанию.
Отвлекись. На ребёнке поправь одеяльце.
Успокойся. Отпей освящённой водицы.
Подыши горячо на холодные пальцы.
Потерпи полчаса, полдождя, полстраницы.

Я говорю дорогу, лес, дома.
Я говорю тебя светло и грустно.
И это немудрёное искусство —
всего лишь способ не сойти с ума.
Я говорю себя, как будто я
нетутошний, окольный, посторонний.
Стоящий на расплавленном перроне,
где в трёх аккордах простеньких гармоний
«Прощай, под белым небом января...»
лабает ВИА. Термина «попса»
тогда в природе не существовало...
О чём я? Да... о том, что я устало
произношу собаку, небеса,
и вновь тебя, детей, большую мать
(совсем старуху — семьдесят минуло).
Дай Бог, чтобы чутьё не обмануло,
дай Бог, чтобы случайно не толкнуло,
сказать не так. Или не то сказать.

Твой голос удивительно красив
Т.Д.

Твой голос удивительно красив,
особенно, когда на низких нотах
спросонья говоришь по телефону.
Так тихнет дождь, своё отморосив.
Вы часто совпадаете в частотах
вне общечеловеческого фона.
Я помню этот голос вопреки
рычанию умирающего мира.
И даже, если ангельские трубы
внезапно зазвучат, сдавив виски,
я буду помнить тихую квартиру
и голос твой, и волосы, и губы.

Жизнь ползёт, как больная улитка

Жизнь ползёт, как больная улитка.
А у нас во дворе благодать.
Заросла виноградом калитка.
Посторонних за ней не видать.
И меня не видать посторонним —
как я выйду из дома в трусах
или, как говорили, — в исподнем.
Полуголый, зато при часах.
Хорошо целый день не работать,
потому — что работать нельзя.
Можно просто ресницами хлопать,
взглядом потусторонним скользя
по балконам, венцам и балконам,
по венцам и балконам вокруг.

И в распаде моём неуклонном,
может быть, обнаружится вдруг
некий смысл невозможно счастливый,
от которого пустишься в пляс,
обнимая отцветшую сливу
и целуя, сквозь слёзы смеясь.

Есть между нами жуткое сродство,
Такое неприметное вначале:
Твоё дыханье у моей печали.
Твои глаза у горя моего.
Я болен. Нету проку в докторях.
Они жужжат своим учёным кругом
О том, что не является недугом
Кромешный стыд и бесконечный страх
Того, что я достиг ночного дна,
Что я опять кружусь в бесовской драке,
Что лишь одно мне видится во мраке:
Летающий крестик твоего окна.

Стихотворение в альбом Наталии Кочневой

Француженка, умелица, кокетка,
Прошу тебя, пошей мне чёрный фрак.
Есть у меня заветная монетка.
Я об услуге не прошу за так.
Веди рукой уверенней и резче —
Я в новые фасоны не упёрт.
Мне шли всегда классические вещи:
Красавицы, седаны, конный спорт.

От гордости и радости покупки
Я прекращу крысиную возню
И совершу прекрасные поступки,
Раздам долги и маме позвоню.
Я буду, наконец, прощён и понят.
А в миг, когда растает волшебство,
Меня забудут все, а фрак запомнят
И мастерицу, шившую его.

В моем уходе некий есть прикол
какого-то особенного рода:
боль ограничила мою свободу.
Чуть в сторону — ограда, частокол.
Испытывать терпение моё
довольно поздно — я по жизни твёрдый.
Но вот сижу с нечеловечьей мордой,
терпя внутри горящее смольё.
Но я горжусь тем, что могу острить,
хотя, увы, довольно мрачновато.
Какая-то дурацкая расплата.
Да и за что, но некого спросить.
Пепельница полна
страшными,
перегоревшими мыслями.

Выбери, выбери чистое, чистое поле.
Выведай, выведай числа оставшихся дней.
Прежде чем сдохнуть, ты зубы источишь от боли.
Прежде чем сдохнуть, ты ногти сорвёшь до корней.

Выкраси в чёрное белую, белую пряжу,
чтобы жена себе чёрное платье ткала.
Вычисти, вычисти пол, а угольную сажу
выброси в ночь, чтобы та догорела дотла.
Выдели, выдели самую главную книгу.
И дочитай, дочитай до конца, до конца.
Ты не почувствуешь неумолимого сдвига
мира, когда ты живого лишишься лица.

Умирать — это вам не в игрушки играть.
Умирание — это такая работа.
Молчаливо терпеть, не бояться, не врать,
и держать, и держать сверхвысокую ноту
угасающих дней и бредовых ночей,
вспоминая отцовский неношенный китель.
Из немногих оставшихся в доме вещей
по наследству он твой, господин сочинитель.
Ты достанешь его и, рукав теребя,
удивишься — как новый! — носи не износишь.
И поймёшь, что у времени ты для себя
ничего не возьмёшь, ничего не попросишь.

Я поеду в Москву

Алексеевой Анастасии

Я поеду в Москву и куплю тебе белую лошадь —
непрерывную часть из желанных тобою чудес.
Не китайскую дрянь и не то чтобы лошадь поплоше.
Лошадь именно ту, что взлетает до самых небес.
Я достану её из весёлой паковочной стружки.

Ты от радости станешь по комнате белой кружить.
Ради этих минут ты забудешь другие игрушки.
Будешь гладить её хвост, будешь гриву её ворошить.
А однажды, когда наш порядок нарушится шаткий.
Ты взлетишь высоко, не боясь затяжной высоты.
Я увижу тебя на пластмассовой белой лошадке.
И укроюсь дождём, чтоб меня не увидела ты.

ПРОЗА

Иван Шутьпин

РАССКАЗЫ

Вишнёвый клей

Сады в деревне были у всех. И на первый взгляд — у всех одинаковые: ни яблонь, ни груш, ни китаек. За всё это почему-то стали брать налоги, и деревья пошли под топор. Остались в уголках огородов, по старицам да вдоль плетней диковатые заросли вишни-расплётки, чёрной смородины, крыжовника.

Председатель сельсовета и такие сады хотел было обналожить, но мужики как один развели руками:

— Иди сам изничтожай. Мы за лето три раза вырубали. Всё одно прёт, как будто её из-под земли за волосы тянут!

Хотя ни один и не пытался вырубить остатки сада. Так, постучали для вида топорами, прореживая вишеник, чтоб не захирел. Каждый чувствовал, что дурной закон долго не продержится. Дерево смахнуть разом можно, а выращивать до-олго!

Мужики и так здорово жалели загубленные сады. При случае вспоминали:

— Антоновка была...

— Ранетку жалко...

— Анис, анис-то — по кулаку был!

Но больше всё-таки страдали после гибели садов мы, ребяташки.

Детство наше пришлось на первые послевоенные годы, житьё было несладкое. Конфеты редки, как праздники, а о мороженом и прочей роскоши — говорить нечего. Тут бы нас и выручили яблони, груши, плодовые китайки, а их вырубили.

И обрели тогда особую ценность берёзовый сок, дикий лук, колючие бобы. Они были нашим богатством, если их недоставало; нашей роскошью, когда их добывалось много; и всегда — нашей валютой, на которую можно выменять любую вещь.

Но все они — берёзовый сок, дикий лук, бобы, — все они были добычей сезонной: сок — весной, лук — летом, бобы — осенью. И ходить за ними далеко — по лесам, по лугам.

Постоянной же усладой (от холодов до холодов, к тому же всегда под рукой) был вишнёвый клей.

Янтарные наплывы со стволов расплётки мы скрывали ногтями, а если не поддавался — зубами, и лепили их в комки-слепни. Каждый постоянно таскал

в кармане комок величиной с теннисный мяч. Особо прилежные и терпеливые набирали слепни величиной с голову. Весь день можно было беззаботно лизать клей, сосать или жевать, с трудом разжимая слипшиеся зубы.

Светло-золотистый молодой или уже затвердевший шафранный клей был пресным, с древесным привкусом, но пах всегда вишнёвым цветом и берёзой. Именно берёзой! Я уверен, что каждый, кто хоть однажды срывал зубами с вишнёвого ствола клей, чувствовал вдруг этот запах — берёзовый, помимо всем знакомого вишнёвого, ванильно-сладкого. А завиток вишнёвой кожицы, который иногда сдирался вместе с клеем, — разве он не схож как две капли воды с берестой? Только что не белый!

Когда слепень клея уменьшался или совсем исчезал, можно было идти по никем не охраняемым вишнякам пополнять свои запасы. И мы шли. И ни разу не задумались: почему такая прорва клея на столь неказистых и редких вишнях? Каждое деревце словно увешано было янтарными наплывами. Мы не задумывались, мы просто радовались обилию. К тому же взрослые говорили, что в годы бедствий и голода обязательно прёт недуром всякая дичь: жёлуди, грибы, ягодка, травка — как на выручку... Словом, принималось это как должное.

Года через два вишни вдруг посохли. Погибли все до одной. Объясняли это морозной зимой, «английской» болезнью, засухой.

Но мы как-то не заметили гибели вишен. То ли повзрослели, то ли к тому времени стала появляться

настоящая роскошь — конфеты, печенье... Я, помню, даже помогал рубить вишнёвый сушняк на дрова. На некоторых стволах ещё сохранились нашлапки окостенелого клея, но они уже не заинтересовали меня.

Всё это я вспомнил недавно, когда увидел, что знакомый старик садовод собирается спилить ещё крепкое вишнёвое дерево.

— Зачем ты её губишь? — спросил я.

— Не жилища она, — ответил старик, — Видишь: клей пошёл. Это всё равно, что кровь. Не жилища, значит.

Вот тогда я и вспомнил наши вишни, не пожалевшие своей крови, чтобы хоть как-то скрасить наше детство.

Дождь при луне

Я засиделся допоздна.

Июньской ночью в сухом деревянном домике было жарко. Открытая в сени дверь и маленькая форточка в окне почти не освежали воздух. Красно пылала передо мной настольная лампа, бросая из-под абажура пучок света на белый лист бумаги и окрашивая его в горячий жёлтый цвет. Горела моя голова, как это часто бывает во время ночной работы, когда попадаешь в азарт, преследуя неуловимую мысль, и уже кажется, что ты её вот-вот настигнешь и она ляжет на бумагу чётко и ясно, однако в самый решающий момент, в предчувствии удачи, начинает

возбуждённо колотиться сердце, стучать в висках — и ты обессиленно падаешь, падаешь, чтобы через минуту подняться и вновь пуститься в азартную погоню...

В те минуты, когда я набирался сил, я видел за окном, в палисаднике, неподвижно блестящие под лунной листвой вишен, до меня через открытую форточку долетали звуки деревенской ночи. Где-то далеко, в низине у реки, хлётко цокал соловей; за огородами, на крыше колхозного сарая, кукукал сычок; тут и там взбрёхивали собаки... Но постепенно всё это опять приглушалось, тонуло в горячем шуме головы; звуки эти существовали, я даже слышал их подсознательно, однако меня они больше не занимали.

И вдруг в какой-то момент все ночные голоса исчезли совсем, по-настоящему, будто я вмиг оглох. Я даже вздрогнул. Напряжённо прислушался... За окном почудился странный шелест. Я потянулся к форточке: снаружи не было ни ветерка, но глянцевые листья вишен то тут, то там вздрагивали, играя лунными бликами, и это вздрагивание сопровождалось мягким прищёлкиванием.

Я пошёл на улицу и уже в сених по стуку в крышу понял — дождь. Но откуда? Во дворе, перетаптываясь на месте, запрокинув голову, я оглядывал небосвод и не находил ни тучки, ни облачка. Высоко на востоке стояла полная луна, по всему небу рассыпаны звёзды... И всё-таки дождь шёл.

Крупные редкие капли оставляли мгновенный чёрный след на белом лунном диске, потом свисали до земли сверкающими нитями и гасли в траве.

Я подставлял под капли разгорячённый лоб, и они приятно студили его, успокаивающе похлопывали меня по плечам и прижимали к телу тонкое полотно рубашки. Откуда-то появился сычок, стал бесшумно кружить надо мной, порой пролетая так низко, что я чувствовал на себе взгляд его круглых внимательных глаз.

Дождь при луне... Никогда раньше я не видел такого дождя.

Я хорошо помню дождь при солнце, слепой дождь детства, когда в самую жару застучат вдруг по крышам, по взбитой дороге, поднимая султанчики пыли, крупные капли, бросятся под лопухи и плетни перепуганные куры и высыплет на улицу полуголая ребятня. Повиснут с неба до земли золотые нити, и вспыхнет на них семицветная радуга. Ребятня будет тянуть к солнцу руки и петь, приплясывая:

Слепой дождь, слепой дождь,
принеси мне счастье...

Кому капля попадёт на голову — тот обязательно будет счастливым.

Слепой дождь, слепой дождь,
принеси мне счастье...

И слепой дождь щедро шлёпает по выгоревшим пушистым макушкам, оставляя на них тёмные и гладкие отметины грядущего счастья.

Дождь при солнце... Слепой дождь мечтаний и надежд!

А как назвать дождь при луне? Может быть, дождём раздумий и ночных бдений?

Тогда каким же должен быть дождь мудрости и прозрений? Неужели правда, что его редкие слепые капли выпадают на избранные головы глухими ночами, когда темно, хоть глаз выколи?..

Кеша

Не знаю почему, но у меня это имя — Кеша — всегда ассоциируется с чем-то дворовым, мелкохулиганским, порочным. Поэтому, может быть, когда я услышал, что так зовут почти ручную серую ворону, мне это не понравилось. Дали полумия-полукличку и будто записали в сумеречную нечистоплотную компанию. Ей-богу, уже тогда, в момент первого нашего знакомства, у меня были какие-то недобрые предчувствия...

Неизвестно, откуда взялась эта ворона, — видимо, кто-то воспитал, приручил, а потом выпустил, устав от хлопот; может, сама улетела. Теперь с ней знакомы многие, бывающие на набережной Волги. Своим «человеком» считают её рыбаки, доминошники, сторожа лодочных станций, ребяташки.

И я увидел её первый раз на берегу, около дебаркадера спортивного общества «Локомотив». Я стоял, облокотившись на парапет, и большая чёрно-серая птица буквально свалилась мне на голову. Я протя-

нул к ней руку, но она недовольно щёлкнула клювом и отскочила; однако улетать не собиралась. Выглядела ворона несколько неряшливее своих осторожных диковатых сородичей: длинноногая, одно перо в крыле подвёрнуто, грудь вымазана в чём-то красном. Впрочем, почти все ручные птицы выглядят неряшливее вольных.

У меня в кармане нашлось несколько семечек подсолнуха, и я отдал их вороне. Она будто этого и ждала — сразу же принялась ловко их лущить. Приятно было видеть, как птица, в общем-то не балующая нас своим доверием, спокойно потчует в полуметре от тебя.

Но откуда-то появились два парня (свои, как мне показалось, на водных станциях), в руках у них было по бутылке красного вина; один из них фамильярно и властно позвал:

— Кеша, подь сюда!

Ворона, недолуштив семечки, поспешила вслед за парнями. Было жалко и немного обидно так быстро с ней расставаться, но я подумал, что она променяла мой скромный подарок на ласку хозяина, а может, и на более лакомый кусочек, и простил её. Вороне виднее. Правда, осталось что-то неприятное от нелюбимого мной имени «Кеша». Точнее — от интонации, с которой оно было произнесено...

Второй раз я встретил эту ворону на рыбалке. Мы сидели небольшим табором в ухвостье островка Старый пляж; сидели молча, каждый был занят своим делом, то есть внимательно смотрел в лунки. И вдруг табор оживился, я опять услышал уже зна-

комое: «Кеша, Кеша!..» Правда произносили рыбаки это имя не фамильярно и властно, а приветливо, дружелюбно. Серая ворона с подвёрнутым пером в крыле и вымазанной красным грудью перелетала от одного рыбака к другому. Она бесцеремонно потрошила рюкзаки, заглядывала в карманы плащей и полушубков, раскачивалась на верёвочках воткнутых в лёд пешней. У зазевавшихся выдёргивала из лунок поплавки и, путая леску, выбрасывала их на снег. Старые рыбаки — боже упаси кого помешать им! — тут только добродушно ворчали и отмахивались, а те, кто помоложе, доставали из обеденных свёртков сыр, колбасу и угощали ворону. Подлетела она в свой черёд и ко мне. Я бросил ей маленькую рыбёшку. Кеша выклевал рыбёшке глаза и тут же оставил её, а сам с непонятной мне жадностью набросился на мои запасные поплавки, которые лежали на снегу. Поплавки были пенопластовые, белые, с окрашенными в красный цвет верхушками. Эти-то верхушки и долбил Кеша с нетерпением. Когда же поплавок, не поддаваясь, уходил в снег и просвечивал оттуда кровавой капелькой, Кеша жадно хватал этот казавшийся красным снег, глотал и блаженно закрывал пепельной плёнкой глаза... Меня это заинтересовало, но тогда я многого ещё не знал и отобрал у вороны поплавки.

Последняя моя встреча с Кешей, которая, собственно, и заставила меня написать об этом, произошла совсем недавно, уже в марте.

На одной из террас нашей набережной я увидел группку ребяташек, которые, сгрудившись в кружок,

что-то оживлённо обсуждали. Я подошёл к ним. В центре круга сидел Кеша и усердно трепал чью-то цветистую шерстяную варежку. Мне показалось, стал он ещё более неряшливым, неухоженным. На снег были набросаны крошки хлеба, печенья. Но Кеша не обращал на эти лакомства никакого внимания и занимался варежкой. Причём из неё он старался вытянуть только красные нитки. А ребята всё подбрасывали свои приношения, появились даже конфеты. Потом к нам подошла одна из женщин, работавших неподалёку на ещё заснеженных клумбах, протянула вороне кусочек плавленого сыра и сказала ласково:

— Яша сыр любит.

Но и сыр ворону не заинтересовал.

— Он другое любит, — загадочно сказал откуда-то взявшийся подвыпивший мужчина. Достал из кармана пустую бутылку и знакомым мне фамильярно-властным тоном приказал:

— Кеша, на!

Бутылка полетела подальше в снег, а Кеша бросился за ней, как дрессированная собака. Он ворочал посудину своим сильным клювом и так и эдак, заглядывал в неё, выклёвывал из горлышка снег и, как тогда, на рыбалке, блаженно закрывал глаза пепельной плёнкой.

— Шалберники, — сердито сказала женщина, — испортили птицу.

Мужчина что-то пробурчал и пошёл своей дорогой. Ребятишки стали перебрасывать бутылку с места на место, и Кеша улетал за ней всёй дальше и дальше.

— Что всё это значит? — спросил я у женщины.

— Приучили, шаромыжники, птицу вино пить. Накапают на снег краснухи, а она, глупая, клюёт. Набаловалась, даже есть не хочет. Погибнет ведь...

Только тут я понял, почему так легко оставил Кеша мои семечки, почему его интересовали мои красные поплавки. Они напоминали ему капли вина на снегу.

Мне захотелось успокоить женщину, и я сказал:

— Ничего. Вот придёт весна, снег растает, и он забудет эту дурную привычку. Пару себе найдёт...

— Да кому он нужен, такой пьяница, — искренне вздохнула женщина.

Чёрный груздь

Я и раньше слышал, что этот гриб красив, но сам ни разу чёрный груздь не видел — в местах, где я родился, ходил по грибы, он почему-то не растёт.

— Поехали! Я знаю, где можно найти чёрный груздь, — говорил мой друг, художник. — Представляешь — это патриарх! Замшелый патриарх... И вместе — мраморный ангел, крыльшки просвечивают! Представляешь античный мрамор? Пожелтел от времени, но просвечивает.

...И вот, уставший и довольный, я лежу на скамейке в полутёмном зальчике дебаркадера. Друг сидит рядом и пытается завести знакомство с девчонками. Их три, все в тренировочных костюмах, с рюкзаками. Они тоже дожидаются парохода на Саратов.

За окнами ночь, маленькую пристань покачивает, внизу хлопает вода, скрипят канаты.

У меня в головах стоит корзина, на дне которой лежат чёрные грузди. Их всего четыре. Они возвышаются круглыми холмиками. На самых срезах выступили белые капли.

За день мы исходили весь Рябинный лес. Под ногами пружинил чернозём, пахло грибами, и они попадались: пучки опят вокруг пней и гнилых валежин, похожие на ушные раковины оранжевые лисички, длинноногие мухоморы в оборванных балетных пачках... Но мы шли поклониться патриарху и не ломали шапок перед мелкотой.

Мне повезло только раз.

Я почувствовал, ощутил всей кожей, что он рядом. Медленно оглянулся и увидел: на чистом пятачке чернозёма стоят четыре белые чаши, полные чёрной дождевой воды. Колдовского зелья. Я осторожно подрезал ножку первой чаши и, обливая руку, поднял тост за патриарха...

Другу повезло больше. Он отыскал десятка полтора чёрных груздей.

И вот теперь мой друг явно хотел похвастаться своей удачей перед девчонками. Он очень подходил к их компании: в таком же тренировочном костюме, стройный и ещё молодой — всего, может быть, лет на десять постарше девчонок.

— Как успехи? спрашивал он, будто век уже был с ними знаком.

Девчонки с гордостью похлопали по тугим рюкзакам.

— А у вас?

Друг медленно, как фокусник, стащил со своей корзины белую тряпицу...

Но девочки не ахнули.

— Маловато, — сказала одна. — А почему у вас только такие чёрные? Мы и опять собирали, и лисичек.

Друг обиделся:

— Опята — дрянь. Хозяйственным мылом пахнут. И похотью — уж больно их много. Я не собираю такие.

— А ваш чёрный груздь — горький, — сказала другая. — Его, прежде чем приготовить, отваривать замучаешься.

— Но зато какая красота! — пытался убедить друг. — Вы только посмотрите, какой верх — это же дубовая кора, древность, мудрость! И какой испод, низ — сама нежность, ребёнок, белый мрамор... А что ваши опята-лисички? Ни формы, ни цвета — обмылки...

— Ну раз уж на то пошло, — вступилась третья, — то благородства, о котором вы говорите, нет ни в опятах, ни в груздях. Все они — примитив, обыкновенная плесень. Гриб — это большая плесень...

— Пусть так. Плесень. Но вы всё равно неправы, — заспорил друг. — Чёрный груздь — это совершенство, пусть даже среди плесени, а эти, — он ткнул пальцем в рюкзак, — эти — мокрицы!.. А насчёт плесени, знаете, ещё Вольтер писал: человечество в масштабах Вселенной — тоже всего лишь малая плесень, пятнышко. Выходит, все мы вроде бы одинако-

вы. Согласны? Но если к нам присмотреться повнимательнее, принюхать, то... От одних пахнет тупостью, дрянцой, похотью, от других — умом, силой, красотой. Кто, по-вашему, интереснее, кто высшая суть этой плесени? Конечно, вторые — они проявление лучших качеств, совершенства. Понимаете? Проявление красоты!..

Он ещё долго что-то доказывал.

Дебаркадер покачивало, скрипели канаты, ёрзал по борту трап, галдели девчонки. Я задрёмывал.

Мотька и соловей

Заслышав первые соловьиные захлёсты и гулкие раскаты, Мотька брал с комода баян и выходил в палисадник на лавку.

Мотька успел загореть, глаза у него ввалились, седые волосы посерели и казались ещё более жёсткими и прямыми. Выглядел он старше тридцати своих лет.

В палисаднике Мотька устанавливал баян на колени и начинал мучаться: то наигрывал что-то мягкое и плавное, то с остервенением рвал баян, и баян выдавал звуки такой высоты, что казалось, вот-вот сорвётся, охрипнет и уже никогда не сможет так взвизгнуть.

Потом Мотька неожиданно затихал: сбрасывал с плеч ремни и устало наваливался на баян, утыкался в скрещённые руки подбородком. С минуту прислуши-

вался. Тонкие ноздри его вздрагивали, и как-то затравленно, мученически вспыхивали в темноте глаза.

У реки, в черёмуховых сугробах, будто нарочно выждав, пока Мотька умолкнет, залиvisto закатывал соловей. Мотьке казалось, что соловей повторяет звуки баяна, повторяет играючи, но звуки эти оживают, вольно и легко льются из соловьиного горла...

Мотьку околдовывала эта лёгкость.

Ему вдруг снова верилось, что и сам он сможет наконец сыграть так же легко и полно, и станет на душе пусто и светло...

Сердце щемило, а в пальцах появлялась слабость.

Мотька опять выкручивал баян, выжимал, ломал через колено. Страдальчески гримасничая, он помогал ему всем своим существом. И чему-то глупо улыбался.

И мрачнел.

Пальцы не успевали, будто вязли в густом и тягучем. Чувство, похожее на обиду и тоску, сдавливало грудь под мышками...

В палисадник выходила жена. И робко, и жалеючи говорила:

— Моть, не траться... Иди спать...

— Соловей... — говорил Мотька не то жене, не то самому себе.

Она прислушивалась и повторяла:

— Не траться... Пойдём...

За рекой, над черёмухой, всплывала ещё не округлившаяся луна. В её свете голубовато поблёскивали плоские листья осины в углу палисадника и совсем синими казались пучки бутонов на молодой яблоньке.

— Разом бы всё выплеснуть, — зло и мечтательно говорил Мотька. — Как он...

— Пойдём, — тянула жена.

Мотька скручивал баян ремнями и уносил его в дом. Сам ложился спать, но уснуть не мог подолгу.

Через раскрытое окно долетали короткие соловьиные очереди. Дальше — больше в ночь они слышались всё чётче и чётче.

Мотька зарывался в подушки, затыкал уши пальцами. Но через некоторое время освобождал одно ухо, другое — прислушивался. И если случалось, что соловей в тот момент молчал, Мотька начинал беспокоиться. Приподнявшись на локтях, он напряжённо вслушивался. И ему страшно мешало то, что хрипело в груди у спящей рядом жены, и цыканье будильника на комодке...

В последний раз Мотька страдал в палисаднике недолго.

Ещё не успела выйти жена, а он уже связал баян ремнями и унёс его в дом. Но спать не лёг — появился вскоре на крыльце. В правой руке он держал ружьё.

Мотька спустился по огородной меже к речке. Низина встретила холодком, ноги выше незашнурованных полуботинок жгло росой. А в черёмуховых зарослях ещё стояла дневная духота.

Мотька пробирался на голос соловья, часто останавливался: затаившись, всматривался. Наконец в самой гуще он увидел чуть приметную дрожь листьев. Соловей пел, а листья играли слабыми лунными бликами. Но соловья не было видно. Мотька выставил ружьё в сторону дрожавших листьев и спустил курок.

Сквозь звон в ушах он услышал, как посыпались срезанные дробью листья; и только через несколько секунд, задевая ветви, упала на землю птица. Мотька опустил на колени и стал шарить под черёмухой. В темноте ткнулся лицом в венчик какой-то травы и тут же почувствовал на губах солоновато-рыбный привкус крови.

Мотька взял пушистый комочек в руку и поднялся с колен. С минуту он бессмысленно мямл птицу в ладони, нащупывая пальцами то острие “кобылки”, то витой шнурок соловьиного горла. Потом бросил её под черёмуху и пошёл домой.

В ту ночь Мотька заснул сразу и крепко.

Но в палисадник с тех пор с баяном не выходил.

Подарок

Мой друг живёт за городом, в дачном посёлке, где зимой особенно тихо и безлюдно. Разве что самый заботливый дачник наведается иногда в воскресный день подышать часок-другой свежим воздухом, да заодно притоптать снег вокруг молодых яблонь, чтобы мыши не погрызли кору, да ещё накидать снегу в большой поливной бак, чтобы весной воды натаяло. Но друг мой — отшельник, его не гнетёт одиночество. А может, и гнетёт, но он, как и положено отшельнику, не показывает виду, сидит в утеплённой половине своей дачи один и долгими зимними вечерами колдует, колдует над белым листом

бумаги, воображая волшебные картины. Мой друг — писатель, он придумывает сказки.

В городе он почти не бывает, говорит, что отвык и теперь ему в городе тесно, душно. Но иногда под праздник или там к случаю приглашает к себе кого-нибудь из друзей, чтобы посидеть вместе у жаркой печки и побеседовать, вспомнить что-нибудь забавное.

Вот и нам, мне и моей жене, он прислал под Новый год записку: «Приезжайте в гости. В садах много птиц. Отдохнёте».

И мы поехали.

День был морозный, ясный. Мой друг долго водил нас по тихим заснеженным улочкам дачного посёлка, то и дело останавливался у изгородей чужих садов, жестами просил нас подойти ближе, и мы не переставали удивляться. Мы даже не догадывались, что зимой неподалёку от города, в садах, живёт такое разнообразное множество птиц! По овражистой коре старой груши сновал вверх-вниз куцый синеватосерый поползень; на высоком тополе сидела стайка свиристелей, таких пушистых, таких мягких, что до них хотелось дотронуться пальцами; на торчащих из снега метёлках неизвестной нам травы раскачивались плотные красногрудые снегири и посвистывали, казалось, еле-еле слышно, однако мы переходили на другую улицу, на третью, а свист этот всё долетал до наших ушей; неожиданно, даже напугав нас, вылетели из зарослей вишни-расплётки горластые сойки и долго нас потом сопровождали, крича и сердито поднимая широкие хохлы; напуганный трезвоном соек

прекратил свою стукотню и куда-то незаметно скрылся зелёный дятел, соривший с макушки трухлявого столба; зато разнокалиберные синицы, щеглы и ещё какая-то мелочь порхали повсюду.

Потом мы сидели в тёплой, как-то особенно — по-дачному — уютной комнатёнке, пили красное вино и вслух завидовали другу.

А после весёлого застолья, когда мы собрались уезжать домой, друг подарил нам птицу — в жёсткой проволочной клетке. Под Новый год друзьям принято что-нибудь дарить на счастье, чтобы они встретили Новый год в хорошем, добром настроении; и мы, размягчённые вином и растроганные прощанием, взяли птицу.

Но уже по дороге домой, в автобусе, стали недоумевать: что за странный подарок? Ведь мы никогда не держали дома птиц, и друг мой этим тоже не увлекался... И вообще — нам больше нравились птицы на воле, в садах, в лесу...

Вернувшись, мы стали наряжать нашу ёлку, украшали её сверкающим «дождём», зажигали цветные лампы, в комнате пахло смолой и снегом, было празднично, только нас всё время беспокоила птица в клетке. Птица — это был снегирь — сидела неподвижно, нахолившись, красная грудка её поблекла.

— Какая-то она...

— А какие у неё глаза... — то и дело замечали мы.

Эти глаза не давали нам покоя.

Мы переставляли клетку с места на место: со стола на шкаф, со шкафа на подоконник — будто перестановка способна была что-то изменить.

Потом один из нас решился:

— Давай её выпустим...

— Конечно, выпустим! — радостно подхватил другой и вспомнил, что это подарок. — А друг до весны всё равно вряд ли к нам приедет, весной же птиц выпускают все.

И мы выпустили снегиря, клетку засунули в кладовку.

А вечером мы встречали Новый год и совсем забыли про птицу. У нас было отличное настроение, мы пели, смеялись, и сами про себя удивлялись своему счастливому веселью.

И только поздно ночью, засыпая уже в новом году, я вспомнил друга и неожиданно разгадал смысл его подарка. В полусне друг представился мне настоящим лукавым седобородым сказочником, хотя в действительности он был молод и бороды не носил.

Много ль нужно воробью

Я выхожу утром во двор, чтобы наколоть немного дров для печки или так просто — поглядеть, как поднимается из-за горы солнышко, а он уже прыгает по прихваченной морозцем земле и подбирает пшеничные зёрна, оставшиеся после кур, которых моя мама успела покормить.

Я давно его приметил. Какой-то он жалкий и неухоженный: чёрный галстучек под клювом перепутан и сбит набок — точь-в-точь, как у нашего сельского почтара Дмитрия Петровича, — одно пёрышко в хвосте сломано и оттопырилось в сторону, как засиженная фалда фрака... Живёт этот воробей один над дверью коридорчика в шиферной складке крыши.

Теперь уже апрель, и воробьи не шастают стаями со двора на двор, а разбиваются на парочки и держатся так около скворечен, пока хозяева-скворцы не прилетели ещё. Сидят день-деньской, боятся отлететь далеко — вдруг без них возьмёт кто-нибудь и вселится. Сидят они важные, домовитые, пёрышко к пёрышку.

Только мой знакомый — видно, и вправду неудачник! — никак не может найти себе подружку. Чуть только солнышко пригреет — он уже сидит на кромке водосточного жёлоба у своей шиферной складки и распевает без отдыха. Тут даже не знающему воробьиного языка сразу понятно — зовёт. Зовёт-зывает и ничего вокруг не видит и не слышит. Даже красиво получается, не по-воробьиному. Так весь день старается.

Случается, иногда и прилетит на его зов какая воробья. Маленькая, серенькая, чистенькая. Мой знакомый сразу же начинает хлопотать вокруг неё и чиликать ещё ласковее, а потом лезет в своё жилище, и она за ним. Но проходит секунда-другая, и доносятся из шиферной складки возня и крик. Ещё через секунду выскакивает оттуда растерянный хозяин, а за ним привередливая гостья, и сразу — вон с крыши.

А иная ещё и в маковку его клонет с досады, как будто говоря: «Нашёл дуру в такой дыре жить! Тоже мне — жених...»

Жалко мне стало неудачника. Может, он поэт в воробьях, себе думаю, или вообще мечтатель какой... Нашёл я в поленнице дуплистый осиновый кругляк, приладил ему крышу и доньшко, проковырял стамеской дырку чуть больше пятака и приколотил это сооружение к фронтому. Живи, поэт, живи, мечтатель! Не у каждой задавалы-воробьихи хватит сил отказаться от таких хором.

Она, и вправду, назавтра же сыскалась, подруга моему знакомому. Да ещё такая серенькая, чистенькая. Уж эти мне воробьихи!

Теперь они сидят на крыше своего домика бок о бок. А моего знакомого просто не узнать. Весь он как-то приосанился, галстук у него выправился вот только пёрышко в хвосте по-прежнему оттопыривается, как засиженная фалда фрака. Но, я думаю, по весне и оно вылиняет.

Золотистые щурки

Я не люблю мёд, ем его редко, и не в удовольствие, а по необходимости, когда нужно избавиться от простуды или другой какой хвори. А в детстве любил.

В детстве, случалось, мы объедались мёдом, хотя пчёл отцы наши и деды в первые послевоенные годы не водили: не до них — хлопотно очень. Мёдом мы

объедались на колхозной пасеке. И не украдкой, не воровски, а заслуженно и справедливо, как нам тогда казалось...

Мы прибежали на пасеку стайкой, крадучись пробирались мимо гудящих ульев и ныряли в прохладу омшаника.

Пасечник ставил на стол алюминиевую миску золотистого прозрачного мёда. Мы доставали из карманов куски хлеба, если не съедали их ещё дорогой, а если хлеба не было — слюнили указательные пальцы и вытирали их об штаны — готовили вместо ложек.

Мёду можно было съесть сколько душа примет, хоть лопни. Нельзя было только брать мёд домой.

Поэтому мы наедались до одури — бросало то в жар, то в холод — и шли купаться на пруд. Среди нас даже бытовало поверье: если натошак хорошенько натрескаться мёда, искупаться и лечь на горячий песок лицом к солнцу, то вскоре на животе выступят сладкие капли, медовые капли. Неверящим тут же предлагалось проверить — лизнуть...

Да, в детстве я любил мёд. Теперь не люблю — ем редко, по необходимости. И не только потому, что взрослому человеку вообще требуется меньше сладостей. Дело в том, что пасечник угощал нас мёдом не задаром. Мёдом он расплачивался с нами за принесённых ему птиц. За щурок.

Птицы эти водились в наших местах всегда, но только в послевоенные годы утвердилось вдруг мнение, что золотистые щурки — страшные вредители, каждая съедает за день уйму пчёл. И если их не уничтожить, щурки могут за лето перевести всю

пасеку. Правление колхоза постановило кормить мёдом всякого, кто добудет щурку. Но взрослым некогда было бегать за птичками, поэтому промысел был отдан на откуп нам, ребятишкам.

Мы выкапывали их из береговых нор, ловили силками. Сколько удивительно красивых птиц загубили...

Уже много позже я вычитал в учёных книгах, что золотистые щурки действительно едят пчёл, но пчела вовсе не основной их корм. Они едят всех перепончатокрылых насекомых, то есть и мух, и ос, и занудливых слепней... И чувство вины перед этими синезелёными, жёлто-каштановыми радужными птицами, и до того жившее во мне, — удвоилось.

Пасечник был ещё жив. Я сказал ему об этом и посетовал на неразумное, теперь уже забытое постановление правления колхоза.

— Может, и не едят они пчёл, — согласился пасечник. — Да уж больно вы тогда заморённые были, слабенькие. Витамин нужен был сытный. А выписывать мёд не имели права, всё шло в поставку. Вот и придумали вам работу, а себе оправдание...

Первый поцелуй

Стремление любить непременно чистых
обличает эгоизм.

Из записей Чехова

Меня мучают воспоминания о первой любви и первом поцелуе. Хотя в моём возрасте не часто

вспоминают об этом. Разве что иногда — по причине, без причины ли — наплывёт, закружит голову лёгким хмелем, и сделается на душе грустно и светло.

Но даже такие минуты не всегда вызывают светлую грусть и умиление. Порой память требует мужества: напомним вдруг о трусости или глупости, или ещё о чём-нибудь низком, бывшем с человеком во времена его первой любви, тогда человек старается забыть это, а оно вспоминается всё чаще и чаще.

Похожее творится и со мной. Не спросясь, не постучась, стали навеждать меня воспоминания о первой любви и первом поцелуе, а с ними пришли стыд и обида...

Я считаю себя неудачником в любви. Да так оно и есть. И тем это кажется досаднее, что всегда, сколько помню себя — и в школе, и в институте, и после — считался я парнем видным, меня замечали. Но любви не получилось.

Вначале казалось — всё впереди, будет и любовь, придёт; но подкатило тридцать, и подумалось: нет и не будет... Потом уже и не ждал.

Теперь я вспоминаю историю своих первых увлечений, и уводит меня память к самым её истокам, к детству; и высмотрел я в этой истории закономерность своей неудачи....

В нашей детской компании верховодила девочка — Женя. По-азиатски плоское лицо, узкие бёдра — слыла она заводилой и драчуньей. Мать на зависть всем мальчишкам сшила ей из отцовской плащ-палатки штаны. И Женя с гордостью проделывала

такое: перехватывала штаны у щиколоток бечёвкой, садилась в лужу и вставала сухой; или наливала в карманы воды и разгуливала по улице.

У меня тоже было чем погордиться — китель и штаны, сшитые из «диагоналевой» гимнастёрки; на штанах имелись красные лампасы. Я этот костюм очень берёг.

Но однажды мы играли у Жени, и пришёл я оттуда домой в слезах: штаны у меня были мокрые — пустил в них ключ...

Мать возмутилась:

— И не стыдно? Такой большой! Ты что же, как следует не мог сделать?..

Я, заикаясь от слёз и стыда, объяснил:

— У Женькиного дома нельзя... а до своего двора не дотерпел.

«Нельзя» не потому, что стыдно; в любом другом месте я сделал бы это при ней, и не подумав стесняться. Нет! Нельзя потому, что девочки, по тогдашнему моему убеждению, отличались от мальчишек и чем-то иным, были выше и чище, и для Жени наверняка было бы оскорбительным, сделай я это у её дома... Хотя и то, что Женя — существо и внешне устроенное несколько иначе, я осознал до конца, может быть, только на восьмом году, когда все пошли в школу в штанах, а Женя как-то неожиданно — в юбочке... Нет. Разница скрывалась в невидимой стороне жизни девочек, за обыденным.

Ещё больше это убеждение укрепилось в школе, где я столкнулся со множеством не знакомых мне сверстниц, более хрупких, вежливых и загадочных,

чем разбойная Женя. Да и она как-то сразу изменилась, посветлела, словно после бани, и стала дичиться бывших своих приятелей.

В школе я никогда не обижал девочек: не дразнил, не дёргал за косы, не задира́л — даже когда по всем мальчишеским законам они заслуживали этого. Где-то внутри у меня было встроено «нельзя», не мог я коснуться головы, над которой сам же высветлил кружочек чистоты и особенности.

Классе в третьем или четвёртом появилась у меня первая избранница: белые пушистые волосы, белые ресницы и белые глаза, белым же пушком покрыто розовое личико... Звали её Любой, но ребяташки окрестили Любу Краснушкой, чем больно меня оскорбили.

Конечно же, она была новенькой, приезжей, одевалась чистенько и училась отлично...

Теперь я говорю об этом утвердительно, потому что многие тогдашние случайности представляются мне очевидно закономерными. И эта закономерность, проявившаяся ещё тогда, в детстве, прослеживается через всю мою жизнь, подчиняя себе и теперешние кажущиеся случайности.

Тогда, в четвёртом классе, я влюбился в Любу. И это понятно — она была новенькой: я не видел, как её наказывала мать, не видел её зарёванной и жалкой в беспощадных руках мальчишек, не видел её за обеденным столом... Она казалась мне необычнее, чище и выше других, уже знакомых девочек. К тому же она была отличницей. А вопреки кажущейся неприязни мальчишек к отличницам, влюбляются они чаще

всего в них. И это тоже понятно. Отличницы реже краснеют у доски, реже врут и изворачиваются, трусят и вообще не делают ещё многих низких вещей, которые, казалось бы, в чести у мальчишек, на самом же деле мальчишки прощают их только самим себе и то «от некуда деться».

В кого же, как не в Любу, было мне тогда влюбиться!

Я поглядывал на неё украдкой во время уроков и мечтал о том, как хорошо было бы жить с ней рядом и ходить друг к другу в гости, вместе учить уроки, вместе уходить из дома и вместе возвращаться из школы... Все эти мечтания протекали под какую-то чудную музыку, которая и в последующие годы временами навещала меня; да и теперь, зная ноты и законы композиции, я бы, наверное, смог её записать. На уроках я забывался, получал замечания, краснел и даже учиться стал хуже.

Но главное — как сейчас ни стараюсь — не могу припомнить или понять другого: когда, кроме чисто детского желания вместе учить уроки, вместе ходить в школу, появилась у меня жажда любоваться своей избранницей, испытывать при этом наслаждение и мечтать о чём-то высшем, волшебном, в ту пору для меня ещё безымянном, что позже обретёт имя — поцелуй.

Порой мне кажется, что с этим желанием я родился...

Не помню, как долго был я увлечён Любой, но разочарование наступило мгновенно, и тоскливо-ледяной вкус его запомнился мне на всю жизнь.

Шёл я как-то из школы с простодушным дружкойм моим Колькой Амосовым, и раскрывал он мне без утайки душу:

— Я нынче Маслёнке записку послал: давай со мной дружить. И подписался — Амос. Как думаешь, ответит?

— А почему ты хочешь дружить с Маслёнкой?

— Она красивая и не лебезит перед учительницей.

Мне уже давно невтерпёж хотелось рассказать ему о моей любви, и я сказал:

— А мне больше всех нравится Люба...

— Краснушка?! Да у неё язык синий, как у нашего ягнёнка, а за ухом — пузырь! Поэтому она и ходит с распущенными волосами. Глянь на пении ей в рот — синё, как у нашего ягнёнка, когда он к овце просится... Он у нас уже большой стал — на лавку вспрыгивает.

Колька стал рассказывать про ягнёнка, а я — я сразу потерял интерес не только к ягнёнку, но и вообще к жизни: мне стало обидно, хотелось плакать; к Любе у меня появилось чувство брезгливого отвращения, особенно противен был пузырь за ухом.

На Любу я больше не мог смотреть.

Так появилась первая отверженная, лишённая мной ореола чистоты и возвышенности за то, что своей гадливостью оскорбила самое моё сокровенное. С годами к ней прибавятся ещё многие, и эти отверженные своей «низостью» заставят меня уподобить им всех женщин, развенчать их... Но это произойдёт значительно позже. И не сразу.

А вот Колька, мой простодушный Колька был первым из тех равнодушных и потому наблюдательных, которые не раз ещё заставят меня проснуться, открыть глаза — и заплакать, жалея, что это был сон... А ведь они не хотели мне зла и были по-своему правы.

Я теперь иногда встречаю на улицах Любу. Мы живём с ней в одном городе. Это очень полная женщина; щёки и нос у неё покрыты тонкой сетью розовых жилок, поэтому издали она кажется румяной и красноносой; брови и ресницы из белых стали жёлтыми; глаза бледно-голубые, полуприкрытые, сонные; когда-то нежный белый пушок на верхней губе и подбородке превратился в жёлтую щетинку... Теперь я представляю, как похожа была она во времена моей первой любви на поросёнка, и как были точны мальчишки, прозвавшие её Краснушкой. Заглянуть при встрече ей в рот и за ухо я и теперь страшусь...

После Любы я долго не решался отдать кому-нибудь из девочек предпочтение — боялся того неприятного чувства, которое пришло с первым разочарованием. К тому же все мы, мальчишки, в ту пору ударились в спорт; самым позорным считалось быть «хилаком», и я вместе со всеми по целым дням бегал, прыгал, гонял мяч, создавал и хранил в тайне свои комплексы упражнений, «накачивал» плечи, ноги. На влюблённость, на рассеянную мечтательность не оставалось ни времени, ни силы.

Помню жаркие летние вечера, предзакатное по-особому жгущее и блещущее солнце, зелёное футбольное поле, размеченное на займищах, и медно-

красные сосновые штанги ворот. Мы распалены схваткой. Кожа на голове кажется до того горячей, что вот-вот зашипят и свернутся волосы; в висках постукивает, в пояснице приятный зуд, и ноги — налитые не усталостью, а каким-то довольством... Потом — душные сумерки; мы шли к реке, от которой потягивало горьким ракишником и тиной, бросались в парную тёмную воду, но вода не остужала. Только уже на берегу брал первый озноб, мускулы делались крутыми, упругими, а усталость — как рукой снимало...

Я сам чувствовал в то время, как рос, как раздвигал воздух собственным телом; удивлялся, обнаруживая прелесть в движениях, в соприкосновении и даже в ударах и толчках. Тогда же, классе в шестом или седьмом, обрело себя телесно и то высшее и волшебное в отношении к девочкам, что двумя годами раньше было ещё безымянным. Хоть и тайно, хоть со страхом и трепетом, но это уже называлось *поцелуем*, и к нему были причастны губы, руки, грудь — всё тело.

Тогда у меня не было постоянной избранницы. Её место в моём воображении занимала то одна, то другая знакомая мне девочка, чаще несколькими годами старшая, уже дружившая с кем-нибудь из ребят. Я представлял, как иду её провожать, при этом с явственной остротой ощущал в своей руке её прохладную влажную ладонь, чувствовал своим плечом мягкое прикосновение плеча спутницы, ловил вздрагивающие толчки её бедра. Эта близость возбуждала во мне чувство, похожее на ликование, сдерживаемое

робостью. Это чувство росло и росло. А потом — потом происходило то восхитительное, слепящее, теснящее грудь, что не имело ни образа, ни сравнений, ни объяснения! В своём воображении я даже облюбовал место, где это происходило. Почему-то всегда такое должно было случаться у глинобитного угла колхозного гаража. Там я обнимал её и прижимал к себе сильно-сильно, так сильно, что чувствовал, как давят в мою грудь её упругие бугорки, уже оттопыривавшие в ту пору форменный фартучек. Потом я целовал её во влажные горячие губы и... вот тут-то и должно было происходить то восхитительное, слепящее, теснящее грудь и не имеющее ни сравнений, ни объяснения.

Иногда это воображаемое снилось мне ночью. Я просыпался от ощущения стремительного взлёта, сердце неуёмно колотилось, я впадал в состояние какой-то одури, продолжавшейся несколько минут. Это только усиливало пленительную загадку поцелуя.

Я стал мечтать о нём, ждать его, и это были самая сладкая мечта и самое трепетное ожидание, когда-либо в жизни захватывавшие меня.

Но моё воображение имело предел, до которого всё воображаемое было связано с вещами представляемыми: тепло рук, цвет глаз, даже мягкая упругость груди. Тут ещё в партнёрши годились многие девочки. Пределом же было — соприкосновение губ. За ним начиналось что-то сказочное, необычайно цветистое, яркое, головокружительное и совершенно мне неведомое. А ещё — было всё это неземным, сте-

рильно чистым. И когда я начинал прикидывать, с кем бы из девочек я поцеловался наяву, оказывалось — таких нет. Целоваться с Любой? Но у неё синий язык и этот противный пузырь за ухом! Может, с Маслёнкой? Но она уже научилась строить глазки и слишком насмешливая... Тогда, может, тоненькая и красивая Наташка Некрасова? Но она так любит себя... Нет, нет! Существо, достойное любви и поцелуя, должно быть необычным, милым и чистым, таким, каких я встречал в то время в книжках.

Так было долго.

Но очень долго продолжаться так не могло.

Такое существо появилось.

Солнечным утром первого сентября мы стояли во дворе на общешкольной линейке и слушали речь директора. Напротив нас выстроился параллельный нашему восьмой класс, собранный из ребят окрестных семилетних школ. В первом ряду их колонны и стояла она: в коричневом форменном платье, в белом накрахмаленном фартуке, голубая газовая косынка повязана на манер шейного платка; глядела она на свет божий огромными карими глазами, аккуратный носик её был чуть вздёрнут и, казалось, чуть-чуть приподнял за собой и верхнюю губу...

Ребята наши, завидев её, стали толкать друг друга локтями, кивать в её сторону и глупо гыгыкать. Кто-то толкнул и меня. Я оглянулся на толкавшего и жгуче покраснел, как будто меня в чем-то уличили...

На первой же перемене я узнал, кто она. Её звали Сашей. А несколько дней спустя мне донесли, что она интересовалась мной. Так мы познакомились.

Восьмой класс причислялся в школе уже к старшей группе, и нас пропускали на школьные вечера, которые всегда заканчивались танцами. Как мы их ждали!

Уж эти танцы... Они делали нас смелее; без опасения услышать насмешки позволяли нам обнять наших девочек за гибкие их талии и, неумело переминаясь с ноги на ногу, ходить так несколько минут, видеть близко-близко глаза, чувствовать дыхание, робеть и городить чушь. А когда случалось попасть меж двух танцующих пар, и они прижимали нас друг к другу... О как жгли тогда нам спины под пиджаками наши белые китайские рубашки!

Именно на танцах, в жару и забытии, попросил я у Саши разрешения проводить её до общежития; именно на танцах всякий раз давал я себе слово поцеловать её перед прощанием. Но стоило спуститься в раздевалку, одеться и выйти на улицу, как от моей решительности не оставалось и следа. Всё, чего я достиг, подружив с Сашей до Нового года, — это осмелился брать Сашину руку, когда мы гуляли или сидели рядом в кино.

Я ждал новогодний бал-маскарад.

Я решил обязательно поцеловать Сашу, переступить наконец тот загадочный предел и побывать в сказочно-цветистом мире, куда не было входа никому из знакомых мне девочек, кроме Саши.

В день бала я готовился к нему с самого утра. Чистил пиджак, гладил рубашку и брюки, перекрашивал старую кошачью маску. Огорчали меня только ботинки: были они изрядно потрёпаны, со следами

футбольных схваток. Я густо ваксил их до бела обод-
ранные носа, но они только синели, не давая ни бле-
ска, ни вида. Это совсем было испортило мне на-
строение, но выручил дядя. Он предложил свои
красные американские башмаки с бульдожьими но-
сами и толстогубыми рантами. Башмаки были тяжё-
лыми и холодными.

Когда я пришёл в школу, в зале около ёлки уже
шумно толпились маски и костюмы, вдоль стен сиде-
ли на гимнастических скамейках праздничные роди-
тели, они умильно поглядывали на веселящихся
школьников и переговаривались между собой.

В дверях зала стояли два крокодила с деревянны-
ми вилами в руках; пропускали только в масках и
костюмах или же по пригласительному билету, кото-
рый тут же накальвался одним из крокодилов на
вилы. Другой крокодил вручал входящему почтовый
номерок.

Увидев мои башмаки, второй крокодил сказал:

— Ого! Вот это, я понимаю, костюмчик! — и по-
хлопал меня по плечу. — Приз схлопочешь!

Я сгорал со стыда, возненавидел дядины башмаки
и, наверное, ушёл бы домой переобуваться, если бы в
тот момент не увидел Сашу.

Она была наряжена Снегурочкой: белое длинное
платье, почти скрывавшее белые туфельки, было
опушено ватой и усеяно блёстками; из-под высокого
сверкающего стеклярусом кокошника выбились на
висках тёмные прядки волос; на лбу, чуть выше меж-
бровья, искрилась, подвешенная на серебряной
цепочке, звездочка... Но всё это меркло рядом с

огромными, полными света и счастья Сашиными глазами!

Я тут же забыл про свои злополучные башмаки, стоял около дверей зала и глядел, глядел на Сашу. И такое вдруг обуяло меня желание сделать для Саши что-нибудь доброе, сказать нежное и ласковое, что у меня глаза подёрнуло слезой и сдавило горло. Саша... Саша...

Я поставил на листочке бумаги её почтовый номер и написал: «Саша, поздравляю тебя с Новым годом и люблю! Ты самая красивая». Отдал сложенный вчетверо листочек бегавшему в почтальонах Кольке Амосову, и тот, сказав «всё ясно», направился от меня прямо к Саше. Я спрятался за стоявшими рядом десятиклассниками и, выглядывая из-за них, видел, как Саша прочитала записку, вспыхнула румянцем, тут же спрятала её в рукав и, не поднимая глаз, ушла с подругами на другой конец зала.

Потом Саша с Дедом Морозом вели программу вечера, присуждали призы за лучший номер и лучший маскарадный костюм, танцевали; а я боялся показаться ей на глаза, толкался в толпе не танцующих ребят, слушал, как звонко шуршит под ногами фольга, как хлопают над головами хлопущки, осыпая всех конфетти, с тоской глядел на свои идиотские башмаки и чуть не плакал.

Я ждал, когда Саша освободится. Ждать пришлось долго.

Но вот Дед Мороз объявил:

— А сейчас выступит всеми уважаемый родитель Иван Яковлевич!

Под ёлкой поставили стул, усадили на него слепого баяниста Ивана Яковлевича. Он вынул из кармана чёрный бархатный лоскут и расстелил его у себя на коленях. На этот лоскут поставили баян. И родители заиграли. Он играл «Полечку», «Прощание славянки», «В лесу родилась ёлочка» и ещё что-то быстрое и задорное. Вокруг пели и плясали, водили хоровод, а Иван Яковлевич улыбался и смотрел куда-то вверх, на шведскую стенку.

Потом Саша объявила, что Иван Яковлевич будет играть по желанию слушателей.

И тут громче всех заорала десятиклассница Верка:
— Полонез Огинского! Полонез Огинского!..

Помню, Верка эта была здоровой и крепкой девочкой и походила чем-то на переспевший сочный овощ. Я не любил её за то, что родилась она с шестью пальцами на каждой ноге, по одному врачи в детстве отрезали, но ступни у неё так и остались непомерно широкими; не любил ещё за то, что слышал, как говорили, будто летом Верка раскатывалась с прикомандированными шофёрами, и я угадывал в этом что-то недоброе. Ещё я видел, как угрюмые десятиклассники частенько тискали её где-нибудь в углу, а она как-то лениво отбивалась и хохотала...

— Полонез Огинского! Полонез Огинского! — требовала Верка.

Я не знал полонеза Огинского, и в тот вечер он представлялся мне чем-то вульгарным, как сама Верка. Не могла же она, казалось мне, любить что-нибудь нежное и светлое, такое, как звучало у меня в душе.

Я написал на листочке: «Саша, я жду тебя во дворе», — и, отдав записку Кольке Амосову, ушёл.

В тот вечер я так и не услышал полонез Огинского. И ещё много лет потом при одном лишь упоминании о нём я сразу же вспоминал Верку, шофёров и прыщавых десятиклассников.

Саша выбежала во двор уже переодетая. На ней было куцее коричневое пальтишко с серым заячьим воротничком и такого же меха шапка-ушанка, на ногах — тонкие валеные полусапожки.

Мы молча пошли от школы к речке, почти вровень с берегами занесённой снегом, потом вдоль речки по улице, где в каждом доме были освещены окна, по занавескам мелькали тени, сквозь двойные рамы доносилось нестройное пение.

Было тихо и морозно, сыпал мелкий игольчатый снег, падая, он шуршал и звенел.

Мы продолжали идти молча; я ругал себя за нерешительность здесь, на улице, и за отчаянную смелость там, в зале; Саша шла рядом, опустив голову, и чертила сапожками по сыпучему, как песок, снегу. Я смотрел на её чуть вздёрнутый нос, на серебристый парок её дыхания, и мной опять завладело желание сделать для Саши что-нибудь доброе, сказать ей ласковое и нежное.

— Ты завтра уедешь домой на каникулы? — спросил я.

— Да, за мной приедут.

— Мне без тебя будет скучно, — отважился я.

Она ничего не ответила, только ещё ниже опустила голову. Я готов был провалиться сквозь землю.

Мы опять ходили молча. Я уже чувствовал, как коченеют в башмаках пальцы ног, как холод забирается под «фартовую» телогрейку-стёганку. А вскоре и Саша протянула мне руки в маленьких красных варежках со смешно оттопыренными большими пальцами и сказала виновато:

— У меня руки замёрзли...

Как я любил в тот момент Сашу за её смелость! Я взял протянутые мне руки в свои, снял с них варежки и стал тереть её холодные ладони. Она пританцовывала и тихо охала от боли. Видимо, ноги у неё замёрзли так же, как и у меня. Я подносил её руки ко рту, дышал на них и чувствовал, как они пахнут крашеной шерстью варежек. Я почти касался их губами, и то ли от этого, то ли от того, что я часто глубоко вдыхал и выдыхал воздух, у меня кружилась голова, и острая, как укол, боль доставала до сердца и заставляла его замирать.

— Ну, как, отогрелась? — спросил я.

— Отогрелась, — сказала Саша.

— А теперь давай наденем на твою правую руку твою и мою варежки, а левую руку я возьму к себе в карман.

— Давай, — согласилась она.

Я надевал на её покрасневшую и ещё не отогревшуюся как следует руку снизнутые её и мою варежки, а она тихо и счастливо смеялась. И я чувствовал, как быстро роднит нас эта возня.

Так мы и шли, засунув руки в один карман, они быстро согрелись и стали влажными. Я чувствовал Сашино плечо, а когда узкая и глубокая тропка

заставляла нас потесниться, мы задевали друг друга ногами. Эта близость распяляла моё воображение. Мне уже чудился волшебный, цветистый мир поцелуя, о котором я долго и робко мечтал и который был мне ещё неведом. Но теперь казалось, стоило только остановить Сашу, повернуть к себе, тихо поцеловать в губы и тогда...

— Саша, можно я тебя поцелую?..

Она не ответила, только резко вдохнула и задержала воздух, будто собираясь громко расплакаться. Отступить мне было некуда. Сердце моё зашлось от страха и восторга. Я плотно сжал губы, закрыл глаза и, будто бросившись в бездонную пропасть, стал медленно наклоняться к Саше. Я уже коснулся губами её холодных вздрагивающих губ, уже неслись мне навстречу миллионы разноцветных искр, уже слепили меня, как слепят блики отражающегося в реке солнца... Но тут нос мой ткнулся во что-то холодное и мокрое. Мгновенная догадка — и всё погасло. Пропало.

Что со мной творилось! Где я был! Тьма, холод, жуть — космос...

Я повернулся и пошёл. Потом побежал. Я бежал, не разбирая дороги, и плакал. Плакал вслух, громко, размазывал негнущимися ладонями слёзы по щекам, и мои мокрые ресницы тут же смерзались...

После новогоднего вечера мы с Сашей так больше ни разу и не заговорили.

И сколько раз потом в жизни: распалишь себя нежностью, взлетишь до небес, потом сунешься, а

там... Где моё мужество? Отвага? Счастье, наконец?..

Саша! С каким наслаждением я вытер бы теперь твой мокрый носик, расстегнул свою «фартовую» телогрейку, спрятал тебя на груди и целовал, целовал озябшую, продрогшую по моей же вине, и отдышал бы тебя своим горячим дыханием, как пятнышко в намороженном стекле, и увидел за этим тусклым серебряным стеклом яркий солнечный жёлтый мир...

Валерий Володин

УСТАЛЫЕ ШАГИ

Молчание

А на родине моей ещё зима. И признаки весны ещё вялы и неохотны. Белейший, покорный снегам и выюгам простор необозримо далеко раскинулся по всем сторонам от изредевшего села. Ничто не хранит теперь эти разрозненные пустынными завалами сугробов дома, из труб которых, далеко распространяя жалкий, горестно призывной какой-то дух жилища, по утрам и вечерам тянутся молчаливые дымы. А когда выюжит понемногу и, отдаляясь к горизонту, к тихой и неизменной печали леса, струит в позёмке обagrённые закатом снега и взметает на вершине, на перевале пологого косогора сквозящий вечерним све-

том и всё стынущий и стынущий, всё бегущий и бегущий в ровном дуновении ветра неизбегаемый беле-
сый вихрь, — мне думается, что это, прозрачнозри-
мый, бежит из села самый верный его житель и хра-
нитель — домовый, которому не стало веры.

Он всё претерпел на своём неизбежном веку, рав-
ного веку бытия человеческого, — он, равный памяти
земной: меч и огонь карающего христианства, монго-
ло-татарский полон, смуту и сиротство народа, тре-
вожную скуку безвременья и тяжкое бремя веков с
медленной поступью времени, с понурой вереницей
времен. И горе вечных солдаток русских, овдовев-
ших сердцем, сыр-земли камнем ложилось ему на
сердце, и он сидел где-нибудь в недогляданном ук-
ромном местечке, обхватив пепельными руками голо-
ву, растрёпанный и седой, тихонько подвывал в опу-
стевших домах, вторя неслышимо бабьим причитани-
ям, — он, спутник горя и горестный очевидец. И это
его от добра осторожная и лёгкая рука успокаивала
маятно спавших голодных детей, и это он плакал но-
чами над ними от нестерпимо беспомощного запаха
их телец, и это он подсовывал в грязные кулачки
сбережённые про гибельный день хлебные крохи.
Это он пинал властительный иноземный сапог, и это
он сидел, обожжённый, безумный, средь разора по-
жарищ, средь головёшек жилищ, перемогая в кото-
рый раз человечье сиротство. И потом, долгие годы
после беды, в предутреннем мороке сна, это он вдруг
наваливался на сладостно и долгожданно стонущих
женщин — и отчаянно томил полузабытым блажен-
ством, обманывая их мужем, обманывая в том бла-

женстве. Он стерпел распри, разор, невинно пролитую кровь, братоубийство, глад и хлад, рабство, неубывающий позор кривды. Он был оклеветан пред Богом, которого ему довелось пережить в суматошном веке. Но однажды, за век перед этим, он был обласкан поэтом, душа которого завещала ему хранить, живить земной свой приют:

Поместья мирного незримый покровитель,
Тебя молю, мой добрый домовой,
Храни селенье, лес и дикий садик мой,
И скромную семьи обитель!

Но как ласково называли его по сёлам — домовушко! — и первый совет с ним держали, и первым обживал, обхаживал он новый дом, своим тайным и безмолвным присутствием заполняя домовые закутки.

Он бы всё претерпел, но — не безверие. Ибо он есть, покуда в него верят. Ибо он сущ, покуда необходим. И вера в него — это его жизнь.

А теперь он безверен. И вот — вьюжным облачком на косогоре, освещённом закатом, не он ли, в бегущей и стынувшей всё позёмке, белёсый и горящийся, уходит прочь от людей старичок, — перекинув через плечо мешочек с извечными хлебом и солью; и не за ним ли метнулась бездомная собака, обитающая на скотомогильнике, позванная за ним неизвестной ли тоской, смутным ли каким-то родством или же остатком собачьей своей преданности...

И настанет потом — вновь — ночь над сжавшимся, почти уничтожившимся в безвестном пространстве селом. И вселенское молчание установится окрест

села и окрест душ заснувших людей. И только леденящее, враждебное противостояние безмолвной земли и ясного звёздного неба будет в мире.

Усталые шаги

Возвращаюсь с ночной смены. В усталом теле какая-то перевозбуждённая бодрость, какая бывает после азартной и трудной работы и какая особенно приятна на рассвете, когда позади бессонная ночь, — эта бодрость и этот рассвет в чём-то ясном, первично-хорошем так схожи, так родственны друг другу.

Но несмотря на бодрость, которую я несу в себе, ноги мои тяжелы и усталы: вся-то ночь прошла около токарного станка в полупустом, полусоусеждённом цехе, странно увеличившемся — из-за трудного ожидания утра — в своём скучном угнетающем пространстве. Ноги мои заплетаются, любая малая зазубринка земли чувствительна им, и кажется — лёгкими встречными толчками земля мешает моему продвижению домой, где будет прохладное блаженство постели.

На проходной очень пусто и по-утреннему чисто, кабины работников охраны стоят скошенным в перспективе рядом, отражая одинаковым в каждом стекле кусочком розоватого света начавшееся это огромное утро. Между кабинами застыли недвижно вертушки, затаив в своём тёмно-коричневом сонном лоске, кажется, дневные резкие скрипы и беглые

прикосновения людей, — и сейчас в их стылом металле как бы замедленная возможность всего дневного.

В окошко третьей кабины бросаю привычно пропуск, гладко-приятно, с оттенком смутного воспоминания о синей его окаёмке скользнувшей в ладони, а потом, краем сонного зрения отметив кабину, где с тем же смутным, но уже воочию явственным оттенком синего застыла одиноко фигура охранницы, — тогда уж направляюсь к ней, чтобы там быть выпущенным с завода.

И когда я, неприятно скрипнув контролируемой ею вертушкой, далеко обогнав мыслью о сне своё усталое тело, уже прохожу мимо окошка, врезанного в большую плоскость стекла, до меня доносится участливым голосом сказанное: «Отрубил?!» Это звучит неожиданно, и я поднимаю взгляд на безразличного мне и совершенно незнакомого до той секунды человека, присутствующего пока ещё в моём сознании словно бы лишь призрачным знаком человека, чем-то — в послании, в представительстве от дневных людей — непременно должным присутствовать тут. Говорит это пожилая женщина, улыбаясь одними глазами, — большей улыбке мешает ещё какое-то сокровение раннего утра, какая-то робость, осторожность, потаённые в рассвете. Но и в той скудости нераскрывшейся покуда улыбки, в той скудости её слова столько слышится мне безыскусного тепла, дошедшего, верно, откуда-то с самого доньшка чуткой любви... Под чётким обрезаем почти до бровей натянутого чёрного берета уже старчески прозрачная восковатость недавно освежённого умываньем лица,

тяжело припухшие от бессонной ли ночи или от краткого морочного сна веки, усталая дряблость щёк, невыспавшиеся, но уже привычно наполнившиеся новой дневной силой глаза — с уныло-будничными и печальными пучочками протянувшихся к вискам морщин.

«Отрубил», — говорю я как можно бодрее и стараясь попасть в тон её доброжеланию, в тон некоторой сказавшейся её грусти. Лёгкость какая-то — будто тёплое дыхание первого нынешнего ветерка — овеивает меня, и из той нахлынувшей благодарности я говорю этому лишь малостью одного слова знакомому человеку:

— До свиданья.

— Счастливо отдохнуть, — кивает ответно она, всё так же улыбаясь одними глазами, — полный, грузноватый человек в форменной одежде, с крупными утомлёнными руками, с тяжеловатой, наверное, походкой.

И усталость моя как будто с ней, этой женщиной, осталась. Мне теперь шагается легко — кажется, и не было долгой ночи работы. Странно и удивительно, — я горд сочувствием пожилой женщины, увидевшей во мне всерьёз наработавшегося человека и захотевшей как-нибудь ободрить его. И приятно от сознания, что она никогда бы не сказала доброго слова какому-нибудь свистуну, который приходит в завод, чтобы убить положенные часы, и который потом облегчённой рысцой — скорее, скорее прочь! — проскакивает через проходную. И я несу в себе её простое и грубо-

ватое по внешности слово как хрупкое, нечаянное создание этого утра.

Потом я еду в пустом трамвае, просквозенном ранней сгущённой ещё алостью лучей, несущих уже в своей чистоте, в своей ясной алой определённости какую-то неопределившуюся покуда печаль нынешнего дня, которая потеряется, скрадётся скоро в обильном нарастающей солнцесвете, в обычных буднях города, а на закате вновь станет явной, пока не исчезнет вместе с отгоревшим вечером, так и не успев определиться в своём печальщем существе. Трамвай катится, неспешно постукивая, и каждый раз его ровный, плавный толчок словно передаёт бережно моё тело последующему затяжному толчку, и все мои смутно сознаваемые мысли и чувства сейчас как бы находятся в виду восходящего солнца, весело бегущего сбоку по крышам дальних домов и верхушкам деревьев с ещё ленивой после ночного оцепенения листвой.

Нищий

В день уходящего года всегда хочется как бы отпробовать всех годовых дел понемножку, всё успеть — хотя бы мгновением — перелюбить, что было любимо, — и всё думается: найду вот себе какую-нибудь зацепочку, чтобы какой-то частицей остаться, не выйти из старого года. Не хочется в другие дни, в другое. Всё дальше будет от светлого, начального, всё дальше и безответней в воспоминания. Всё бедственной.

В день уходящего года надо ещё поскитаться по любимым тебе городским отчизнам — по старой дивной улочке с пожилыми ясенями и вязами, по дворикам, юностью завороженным, запечатлённым, охваченным забвением тишины (...там дворик прошлым веком спит...), по площади моей пощаждённой с грустным собором на ней, будто возведшим, не взяв головы, печальные неутолимо детские очи к отчим небесам. Они внимают в этот день от меня прощания, они ждут от меня встречи. Что будет в ином году, то и будет, там мы увидимся ещё (хотя не верится всегда впредпоследок, что переступишь назавтра в новый год, всё мнится: такое непереживаемо, а смертно), но в день уходящего года мы должны для чего-то попрощаться.

А день был сырым и промозглым днём, и то и дело начинал падать крупными хлопьями снег, и то и дело прекращался, откуда-то запускала ветром, — природа словно бы тоже хотела перепробовать сегодня множество своих дел. Я шёл ещё не столь любимой улицей, пересёк раскисшую дорогу и трамвайные рельсы, я должен был пересечь не столь ещё любимую площадь, — а там уже разворачивались прощальные мои владения, но прощальное чувство ко всему нынешнему, а в нынешнем облике и ко всему годовому, — но прощальное уже забрало меня, не дошёл я любимых мест. Печаль моя витала уж округ.

Он сидел перед площадью на обочине тротуара в сыром прямо снегу, около ног прохожих. Чуть склонён вперёд, но не в наклоне подобострастия или унижающего вымаливания, не в позе, взывающей к хри-

стианскому милосердию, — нет, то просто была физическая необходимость изогнуться, если ты хочешь держать шапку подаяния обеими руками, зажав её, замкнув для какой-то надёжности мощным, огрубевшим замком твоих кистей рук. И оттого, что руки такие большие, всерьёз старые и всерьёз изработанные, шапка в их оцеплении глядится совсем игрушечной, пустячной, — вот вроде бы тряхнёт сейчас этим изношенным куском тряпки да ваты с тихо присыпанной снежком унылой и невнятной мелочью на днище, и исчезнет шапчонка, и отпрянет видение-дух этого человека, и рассосётся сиюминутный стыд во мне. Но не исчезает, не отпрядывает, не рассасывается. Не игра, не сиюминутность. Снег крупными платочками укладывается на лысину старика, и из платочков снежных получают обильные струйки — они выпуклы как жилы, только нежильно бесцветны: небесная же водица... Он как-то умеет не мёрзнуть, он угрюмится, он трезв и голоден — и чувствуется, давно уже трезв и голоден, но в кротко-кратком вымелке взгляда нет ни злобы, ни мести, как нет и покорности, есть только терпеливая стойкость такого вот бытия. Взгляд обнажается и ещё, — кто-то бросил посильную монету, — и глаза проглянули неожиданно ясные и молодые — как будто награждён был он такими глазами, да и всех-то, наверное, наград за долгую жизнь у него эти вот ясно, изумительно синие и светло глядевшие из старости глаза.

Он сидел возле минующих его ног, возвышался глыбисто-неподвижно, — крупный старик был, костистый, — снежные платочки становились прозрач-

ными жилами, глаза в стойкости пред бытием были ясны и молоды, руки замком оцепляли шапку, а борода и усы округ рта пропитались грязной желтизной табачной, и в этой никотиновой окольцовке губы чуть шевелились, видно, невольно и не совсем, наверное, впопад тому, что виделось и окружало, что претворялось из ускользающей скудности минуты в скудные отвалы былого.

Приглушённые снегом и смягчённые, бросаемые в шапку монеты не звякали, как подобает им, а глухо клацали, словно собачьи зубы, как зубы собаки, озлённой, но промахнувшейся укусить. То ли день был уходящего года, то ли место такое бойкое, площадное почти, или ж какая-то необычность сквозила в старике, — но только кидали деньги многие, чуть ли не каждый третий — ну уж в худшем случае каждый четвёртый; не по озлобленности, не по безбожеству нашего времени многие. И когда раздавался притишенный снежно-денежный бряк, старик, не взнимая головы, вымелькивал взглядом, опаживал лицо воздушным крестным знаменем, крестной благодарностью. А потом далёким и трудным басом говорил почти уже ушедшему, поторопленному пройти стыдом свершённой милостыни:

— Дай вам бог здоровья! — уже вторично, в никуда, в ушедшее бросившего, но с неменьшим убеждением, с непошатнувшейся оттого, что говорить уж некому, крепостью слова:

— Дай вам бог здоровычка!

День был серый, вялый, меня ждало так много сегодня воспоминаний, прощаний, так много в день

уходящего года, — и я сначала прошёл мимо старика, как и всегда проходил, не подавая, как и всегда с какой-то брезгливостью стыда, гнавшей меня поскорей мимо нищих, не позволявшей бросать никчемную по богатству мелочь, заставлявшей и отвернуться, не замечая вроде, и раздражённо подумать, проходя: вот опять сидят... вот вымалывают...

Прошёл, встал в начале площади — и стыд-то был уже не брезглив, стыд-то был уже стыдящ. Я повернулся и глядел на старика, но всё было так, как я уже видел; всё было в мире абсолютно так же, кроме моего стыда. Боже! что же я делаю, боже! Не от жадности, не от чёрствости, не от больно-то жирной жизни, не из чванства, а только по маленькой, никому даже и не приметной брезгливости. Да почему же так-то, отчего дрянца-то такая маленькая засела в тебе? Уж не от ли: «Бога нет! Небеса пусты!» Уж не от ли: «В СССР самая спокойная и сытная с мире старость!» Только ли так? — но ведь дрянца-то и сама от себя, и сама в себе, она ведь глубже и мудрёней лозунгов...

Вот и назад возвращаюсь, суетливо думаю, — дорога в обратную коротка, — сколько же дать, обыкновенная мелочь уж не покроеет стыда. Возвратясь, бросил в шапку нащупанный в кошельке карманно-наугад бумажный рубль — тоже, почудилось, собачьи кланувший о металл мелочи, даже вроде придавивший и осадивший своей призрачной тяжестью грудку набросанных денег. Таким тяжкеньким мне рубль мой показался. И когда бросил, — именно в этот миг и усомнился: рубля много, зачем щедрюсь так?.. — стыд-то

на это мгновение как-то отхлынул во мне, а мелькнул расчёт, дрянца тяжеловато порхнула, мельтеша во мне, словно обожравшаяся на помойке грязная голубиная стая, — бумажка денежная единственно, сиротливо покоилась в стариковом сборе. Стыдно уж стало, что много дал, больше всех. Первый раз за жизнь подавал... С м и л о с т ы н и л с я...

Старик так же, как и всем брякнувшим в шапку, мелькнул мне взглядом, но был он чуть более длинен и любопытен — удивлением рублёвой щедроты. И сказал — как всем:

— Дай вам бог здоровья! И повторил мне, странно не уходящему, странно не вослед:

— Дай бог здоровычка.

— Зачем на снегу сидишь, отец, простынешь...

Как будто не слышит и вторит одно затверженное: «Дай вам бог здоровья...»

— Простынешь, отец...

— Проходи, проходи, — глухо рокочет он, привыкший к прохожим, но не к стоящим подле; молчанию родный, но не разговору. — Проходи. Христос с тобой...

И я прохожу, мучимый этим рублёвым стыдом, этим рублёвым сознанием, угнетённый пустотой проклятого подаяния (о, неправда, неправда! — не подаяния... а чего же — отдавания? отдавания? подачки?); иду сквозь людную, обильно народную площадь к своим сгаснувшим воспоминаниям, раскинувшимся чуть дальше, где-то там чуть дальше.

И нищенство, такое нищенство разрастается и копится во мне, что никак не изгнать жалкой мысли: а не придётся ли и мне когда-нибудь сидеть вот так с

изношенной, как жизнь, шапкой — и провожать чередующиеся ноги, и слушать вязкий медлительный бряк монетный, застревающий в самой боли твоей, в самих мысли и сердце твоих, и видеть, и мерзким прикосновением к голой коже осязать мокрый снегопад, и знать беспросветные терпение и стыд в себе чужих подаяний, и дальним басом, гоня скорей прочь прохожего, не ты ли скажешь возможно равнодушной такое же: «Проходи. Христос с тобой...»?

Не так ли же сидеть и мне, сгорбась под смутным взглядом неба среди тяжелящего снега и среди взглядов меняющихся из мгновения в мгновение людей, — и мне, ныне нечаянно нищему...

ПОЭЗИЯ

Светлана Кекова

И ИСТОПТАНЫ ЯГОДЫ В ТОЧИЛЕ ЗА ГОРОДОМ

Зачем анафемой грозите вы России?

А.С.Пушкин

Говорят в лицо нам: все песни спеты,
все стихи написаны — говорят,
и тревожно спят на Руси поэты
под покровом слов с головы до пят.

Но, примерив хищный прищур Батыев,
раскормив кричащее вороньё,
целый день горит и дымится Киев
и бросает камни в окно моё.

На камнях — раздавленная калина,
или это кровь — посмотри скорей!
Напиши о Харькове мне, Ирина,
о Славянске мне расскажи, Андрей.

И о том, как нынче живёт Одесса,
как грозят огнём Украине всей,
знаю я — напишет стихи Олеся,
Станислав откликнется, Алексей.

Облака над миром — как стадо овнов,
и отару пастырь пасёт свою,
и встают стихи, словно в море волны,
как солдаты, в общем идут строем.

Пусть сердцам тщедушным и малодушным
угрожает пулей грядущий хам,
нам нельзя молчать, потому что Пушкин
отвечает новым клеветникам.

Се, гряду скоро...

Откр., 3, 11

Последний потомок Данов
в одежду жреца одет.

На влажной листве платанов
сияет нездешний свет.

И, сотнями игл исколот,
скрывается до поры
за сетью тумана город,
стоящий в верху горы.

Ты видишь, легла усталость,
как камень, на грудь жрецу?
недолго ему осталось
златому служить тельцу.

Исчезнет заслон тумана,
останутся дым да гарь.
Поверженный город Дана
возьмёт ассирийский царь.

И будет при свете резком,
несущем живому смерть,
телец окаянным блеском
на склоне холма гореть.

* * *

...И поклонятся ему все живущие на земле...
Откр., 13, 8

Когда говорят телескопы,
Земля начинает кричать,
о том, что на теле Европы
оттиснута Рима печать.

Ей чудится в смертной истоме,
что мир умирает от ран.
Безжалостный кесарь на троне,
отстроенный заново храм.

И крики, и мольбы...

*Неправедный пусть ещё делает неправду; пусть
ещё сквернится,
праведный да творит правду ещё, и святой освя-
щается ещё. Се, грядущее скоро, и
возмездие Моё со Мною, чтобы воздать каждому
по делам его.*

Откр., 22, 11-12

1.

...и крики, и мольбы, и стоны бесполезны:
свершились времена и вышел зверь из бездны:
в Одессе крик и плач — и пламя рвётся ввысь...
А чёрный дым ползёт по обгоревшим трупам,
и ангел над землёй кричит в огромный рупор:
«Остановись, народ! Народ, остановись!»

2.

Да, я боюсь толпы, страшусь её оскала:
я слышала уже, как чернь рукоплескала,
приветствуя убийц, крича: «Распни, распни!»
Но Божий гнев уже созрел в огромных чашах...
Да будет эта кровь на вас и детях ваших,
на вас, кого уже нельзя назвать людьми.

3.

Горит вокруг земля, горит небесный купол,
Донецк и Краматорск, Славянск и Мариуполь —
запомним эти дни и павших имена...

Неправедный ещё творит свою неправду,
но кровь невинных жертв к нам приближает Жатву,
и как нам в мире жить, когда кругом — война?

4.

А Ирод ищет — как с Пилатом породниться:
даёт убийцам власть великая блудница —
Европа, навсегда предавшая Христа.

...И в Чёрном море кровь, и кровь в Днестре вели-
ком...

Но ангел просиял своим нездешним ликом,
чтоб мы сквозь дым и гарь узрели знак Креста.

*...отныне блаженны мёртвые, умирающие
в Господе.*

Откр., 14,13

В Киеве уже цветут каштаны,
с мостовой дождями смыло кровь.
— Ты мне, друг, для каждой новой раны
по свинцовой пуле приготовь.

Кажется, что смыты все улики,
в чистом небе носятся стрижи,
но слышны над Украиной крики:
«Москалей проклятых на ножи!»

Наточила лезвия осока,
и в лампадах кончился елей,
залита земля Юго-Востока
кровью этих самых москалей.

Сквозь вселенский ужас украинский
видно, как с ухмылкой воровской
медленно колдует пан Бжезинский
над великой шахматной доской.

Волшебная рыба

Этери Басария

*На Страшном судищи без оглагольников
обличаюся, без свидетелей осуждаюся,
книги бо совестные разгибаются,
и дела сокровенные открываются...
Из тропаря по третьей кафизме*

Надев золотоканую ризу, сидит безутешная мать
и хочет волшебную рыбу для мёртвого сына поймать.

Вокруг неё — травы и воды, и годы страданий и бед,
а в ней — времена и народы, и праведной совести свет.

В руках она держит корзину, в корзине — иголка и
нить...

Я знаю — убитого сына боится она хоронить.

И кто её сына помянет там, где громоздятся гробы?⁹
и как её мальчик восстанет при звуке последней трубы?⁹

Но — чудо! Возможность спасенья душа прозревает
на миг,
и чаёт она воскресенья при чтении совестных книг.

И призрак последней разлуки не манит её, не зовёт,
и к матери плачущей в руки волшебная рыба плывёт.

*И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяче-
начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий
свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор...
Откр., 6, 15*

1.

Я думала — они исчезли навсегда,
уехав — кто в Москву, кто в новую столицу,
кто в Прагу, кто в Париж, кто — в Геную, кто в
Ниццу,
в иные времена, в иные города,
уехали навек, в пространстве растворились,
как мёртвые в земле, как в кружке пива — соль,
и вдруг вернулись все, и все разговорились,
и горечью своей со мною поделились,
и радостью, в которой скрыта боль.

2.

А я и не ждала, что жизнь внезапно треснет,
как зеркало в углу, в пыли и темноте,

что прошлое умрёт и, умерев, воскреснет,
и сердце закипит, как чайник на плите.
Но как теперь мне жить? Вернулся целый мир,
увы — моя душа вместить его не в силах:
кто был когда-то мил, тот стал убог и сир,
и все его слова в просторных спят могилах —
они отпеты мной и мною прощены,
и руки мертвецов как звуки скрещены.

3.

Мне снится по ночам один и тот же сон:
семь ангелов стоят, облечены в виссон,
семь ангелов стоят, в руках сжимая чаши,
а на земле дрожат тела и души наши.
И никого уже, окликнув, не вернёшь,
и ревность не убьёшь, и не исправишь ложь,
и зависть, как змею, на сердце не раздавишь...
Но вдруг могучий Бах рукой коснётся клавиш,
и ты, обняв меня, вдруг целый мир поймёшь
и Бога милосердного восславишь.

*...и потекла кровь из точила даже до узд
конских...*

Откр., 14, 20

Я там, за Волгою, вдалеке,
сквозь солнечный вижу гнёт,
как Ангел с острым серпом в руке
людскую пшеницу жнёт.

Под ярким солнцем горят серпы,
на лезвиях — кровь и пот,
и в чистом поле стоят снопы,
и каждый из них — народ.

И каждый — в лучшей своей поре,
и лечь под серпами рад...

Созрели на Карачун-горе
и смоквы, и виноград.

Срезает Ангел за гроздью гроздь,
лавиной идёт огонь.
Спаситель распят, и новый гвоздь
вбивают в его ладонь.

Настиг нас, грешников, час такой,
такая пришла пора,
что горе, льющееся рекой,
блестит, как вода Днепра.

*Жаждающий пусть приходит, и желающий
пусть берёт воду жизни даром
Откр., 22, 17.*

На пятой неделе по Пасхе
земля сожжена, как сухарь...
И вновь пастухи и подпаски
отправятся в город Сихарь.

Там каждый — изгой, инородец:
тот — старый, и тот — молодой,
но есть там чудесный колодец,
наполненный чистой водой.

Плывут облака, как охрана,
и, солнечным ядом язвим,
паломник развалины храма
узрит на горе Горизим.

В одежде из света и мрака,
как вход в неземные миры,
там вечно отец Исаака
стоит на вершине горы.

Но с чувством тоски и опаски
(так зрит на убийцу овца)
глядят пастухи и подпаски
на сына, на храм, на отца.

Но вдруг их невидящим взглядам
иной открывается вид:
с какою-то женщиной рядом
какой-то Прохожий стоит...

Я. Удин

ХОРОШИЕ ВРЕМЕНА

Залитая солнцем веранда

Мой отец совсем молодым парнем заболел и на всю жизнь угодил в больницу. Но я тогда был мал и немного из той поры запомнил. Так что своего детства до того, как заболел отец, почти не помню. Разве только сквозь туманец времени проступающее: отец купил мне трехколёсный велосипед и учил кататься на залитой солнцем веранде. Я катался на веранде, где меж половицами образовались щели в палец шириной — доски разошлись, и колёса часто застревали в этих щелях, и я вытаскивал велосипед — снова катался. Хорошо помню своё старание, своё счастливое пыхтение. Отца же в самой картине не помню, он был где-то рядом, я это знаю, просто облика, лица его не могу вспомнить. Но мне почему-то важно, очень важно его бесплотное, точно тень, присутствие в картине.

Вообще, кажется, первое моё зримое воспоминание о мире таково: отец вернулся с базара с огромным арбузом, скинул лёгкий белый пиджак, голубенькую сорочку снял, белую сетчатую майку и долго умывался во дворе. Мать поливала из ковшика, лила ему на шею, на плечи, на спину, отец шумливо, громко

смеясь, отфыркиваясь, разбрызгивая воду, отмывал своё крепкое мускулистое тело, после тщательно, насухо вытерся полотенцем, водрузил арбуз на стол и сверкающим на солнце ножом распластал его. И всё, пожалуй, далее и без того слабое видение вовсе размывается.

Город

Не знаю, сколько мне было лет, когда я с бабушкой поехал в город навещать отца. Как ни странно, однако, не запомнил ни посещение отца, ни его обличья, ни самой лечебницы, наверное, так был ослеплён, оглушён большим городом, обилием разномастных, гудящих, чадящих автомобилей, железным скрежетом трамвайных колёс, и шумными толпами людей. Помнится, что бабушка купила мне ботинки на барахолке, старые, ношенные ботинки за пятьдесят копеек — значительное, видимо, событие для детской души, если так ясно, чётко отпечталось в памяти.

Тогда же, сдаётся, город изумил меня чудным зрелищем: сперва с сыном хозяйки, у которой мы остановились, моим сверстником, долго куда-то шли узкими, кривыми, запутанными улочками, шли быстро, торопясь, я еле поспевал за ним и, наконец, зайдя в какой-то дом, оказались в полутёмной комнате, где мерцал тусклый голубоватый свет и где малой кучкой сидели такие же, как и мы, ребята, и все, как один, смотрели в одну сторону, в дальний угол просторной комнаты, откуда исходило приглушённое смутное

бормотанье. Но поначалу я никак не мог разобраться, что происходит, растерянно вертел головой, озираясь, пока мой спутник не показал мне, куда следует смотреть, и я различил какое-то движение — и поразился: там мальчик катался верхом на огромной белой птице!

Птица плавно скользила по тёмной глади, а мальчик, обеими руками взявшись за красиво изогнутую птичью шею, чинно сидел на её спине. Признаться, я не сразу сообразил, что это за чудо такое, а позже, гораздо позже понял, что это был первый в моей жизни телевизор с крохотным экраном, перед которым ставили дополнительную линзу с жидкостью внутри для увеличения изображения. И смотрели мы тогда, скорее всего, мультфильм.

Крепдешинное платье

Имеется фотография тех лет. На тусклой пожелтевшей карточке запечатлены мать и четверо детей. Я рядом с матерью стою, сестрёнки перед нами, а братик — совсем младенец, не больше года — сидит впереди всех и плачет, искривив физиономию. Ради чего, во имя какой цели в столь нелёгкую для семьи пору сделан снимок, никто не может сказать. Даже мать толком не помнит. Она молода на карточке, в красивом платье.

— В крепдешинном платье, — всегда уточняет мать, — цвета молодой крапивы.

Я не могу вспомнить это платье, но мои пальцы, щека и нос, кажется, сохранили ощущение тёплой, нежной шершавости материала.

Керосинщик

В те годы в селе ещё не было электричества. Только-только вкапывали столбы, тянули провода, вырубая просеки в лесах. Дома освещались керосиновыми лампами. За керосином обычно ходила бабушка. Изредка и меня с собой брала. Отдельная лавка, где торговали керосином, почему-то была без окон, внутри сумрачно, свет падал лишь из раскрытых настежь дверей. Керосин темно поблёскивал в огромном чане, врытом в землю вровень с полом. Лавочник, человек преклонного возраста с жёстким, угрюмым, замкнутым лицом, сидел на низкой скамье по-над самым чаном с вечно тлеющей папиросой в зубах.

Обыкновенно бабушка запросто, не чинясь, крикливо отчитывала его, толкуя, как малому ребёнку, что недалёк тот день, когда он своим проклятым куревом спалит всю лавку. Он ничего не возражал. Он молча ухмылялся, не вынимая изо рта папиросу, и легко, привычно нагибаясь, зачерпывал керосин громадной кружкой.

Не знаю почему, но мне нравилась эта лавка. Нравился запах керосина. Нравился и керосинщик. А чем приглянулся мне этот невзрачный молчун — в ту пору я не смог бы объяснить. Зато много позже,

изрядно повзрослев, я убедился, что керосинщик — весьма милый, задушевный человек, тонкий ценитель весёлых розыгрышей и редкий хлебосол. А уж совсем недавно выяснилось: отца моего — разумеется, до болезни — тоже тянуло к керосинщику. Ещё с ранней молодости он на равных общался, шутил, острил, подтрунивал над старым лавочником.

А тот нисколько не обижался, напротив, всячески привечал его. Рассказывают, будто как-то у керосинщика околела собака, а отец с дружкойми собрались, и забавы ради пошли на поминки. Верно, им хотелось хорошенько выпить. Повеселиться. Пришли они, стало быть, к керосинщику, постучали в ворота. Хозяин вышел им навстречу, и отец с дружкойми стали с притворно скорбными лицами жать ему руку, и он сразу смекнул, в чём дело, хриплым прокурненным голосом крикнул в сторону дома:

— Эй, жена, засучивай рукава — встречай гостей: родня покойного пса пожаловала.

Все расхохотались и весёлым скопом поднялись на веранду старого керосинщика.

Оранжевый клюв дрозда

Сидел на крылечке родового дома. Только что отшумел обильный весенний дождь. Выглянуло солнце и заиграло всюю — дробясь и искрясь мириадами крохотных солнц на зелёных ветвях деревьев. Отовсюду ещё капало и чмокало. Неподалёку в поисках дождевого червя озабоченно скакал по земле

чёрный дрозд. Вот он нашёл его — выхватил клювом и, деловито отряхнув от сора, влаги ли, в два приёма проглотил. Оранжевый клюв дрозда был гораздо ярче дождевого червя.

Крошечное вроде событие, не событие даже, самая заурядная картинка, мелькнувшая пред глазами полвека назад. Но почему-то она так резко врезалась в мою память, что забыть её невозможно. Впрочем, довольно часто память услужливо подсовывает мне такие крохотные воспоминания в ярких красках, звуках и запахах детства.

Старая лоза

За нашим домом росла огромная чёрная ольха, от комля обросшая жёстким тёмно-зелёным мхом. На эту ольху ещё моим прадедом была пущена виноградная лоза. В годы моего детства эта старая, мускулистая, могучая лоза, причудливо извиваясь, вскарабкалась до самой верхушки высоченного дерева. Как-то под вечер, играя топориком, я нечаянно или, сдаётся, скорее из детского любопытства слегка повредил лозу. Из надреза тотчас хлынул, непрерывной струйкой потёк сок, и я растерялся, не зная, как остановить обильную течь.

Я кинулся на чердак, нашёл там какую-то ветошь, торопливо и основательно, в несколько слоёв обмотал вокруг раны и крепко перетянул жгутом. Но куда там. Тряпка моментально потемнела, промокла, и сок заструился вновь. Я впал в нешуточное отчаяние.

Поразмыслив, я быстро, боясь, как бы меня не застали взрослые, воровато озираясь, спустился в овраг, вскопал и замесил жёлтую глину и стал облеплять, обмазывать ею тряпичную повязку. И провозился эдак вплоть до темноты, после тщательно умылся, отправился домой и непривычно рано лёг спать, и ночью частенько просыпался с тревожным беспокойством, а наутро, едва разлепив глаза, бросился к ольхе и увидел, глину мою размыло,— лоза истекала пуще прежнего!

Вот беда-то. Если домашние обнаружат, что я натворил, трёпки не миновать. Да и лоза навряд ли выживет, вся изойдёт соком и засохнет. Жалко. Обидно. Делать нечего, я подстерёг, когда все покинули дом, стащил из сундука увесистый ком пчелиного воска и снова начал колдовать на месте своего преступления.

Однако опять ничего путного не вышло, и так в течение многих и многих дней, что я ни делал, как ни старался, всё без толку, лоза неумолимо истекала, гнила, и я страдал, весь измучился от сознания собственного бессилия. Теперь уж давно запомнил, через сколько времени конкретно надрез на лозе зарубцевался. Но ещё долго, очень долго мне снился, неотвязно снился один и тот же сон, в котором я отчаянно и безуспешно бился, желая спасти жизнь старой лозы, потом, откуда ни возьмись, появлялся мой здоровый, мой умелый, мой всё могущий отец и каким-то чудным образом в одночасье останавливал течь.

Бабушки

Мои бабушки часто ругались, ссорились между собой и тогда, в детстве, мне казалось, они терпеть не могут одна другую, исходят ненавистью, выясняя отношения. Но теперь, спустя десятилетия, мысленно вглядываясь в те далёкие годы, ясно вижу и понимаю, что, хоть и препирались, жили в вечных склоках бабушки, не только вражды, ненависти, но и особой неприязни между ними не было. Обе они простой бабьей ревностью питались — ею были живы.

Да и что им было делить?

Обеим досталось от жизни сполна. Лишь характеры у них были разные, а судьбы, заботы, тревоги, боль и горечь, всё-всё, вплоть до мелочей, совершенно одинаковые. У обеих мужья — мои деды, значит, погибли на фронте, и оба в один год — в самом начале войны. У обеих остались на руках дети: у одной — три сына, у другой — пять дочерей. И обе хорошо знали, сколько тягот каждой пришлось вынести, поднимая детей.

— Твой отец у моего отца батраком был! — бывало, в сердцах выкрикивала одна из моих бабушек.

Но это ровным счётом ничего не значило, обе сознавали, что всё это давно устарело, утратило смысл, тем более что родителей обеих убили в годы первой большой войны.

Однако всё равно одна моя бабушка чрезмерно гордилась своими предками, многое из той незапамятной давности помнила и с удовольствием рассказывала, другая же о своём прошлом вовсе не вспоми-

нала, так же, как одна долгими зимними вечерами развлекала нас, внуков, сказками, другая сказок не знала и всегда говорила исключительно о насущном, необходимом в повседневной жизни, хотя её молодость была не менее насыщена событиями и впечатлениями.

Скажем, совсем недавно я узнал, как много пертерпела эта вроде скрытная моя бабушка до замужества, до того, как вышла за моего деда. Как уже сказано, в первую мировую войну были убиты её мать с отцом, а её, осиротевшую в неполные семь лет, подобрали чужие люди и увезли в далёкую горную деревню. После, спустя годы, вернувшись из плена, её разыскал родной дядя, брат отца, и в двенадцать лет выдал замуж. А она, испугавшись, сбежала, удрала от мужа в брачную ночь.

— Ой, я испугалась этого мужчину, — говорят, сказала она, — он меня руками трогал.

Потом, через несколько лет, вторично выдали её замуж, но со вторым замужеством тоже ничего путного не вышло: муж вскоре после свадьбы скончался от какой-то болезни. А мой дед — получается — был третьим её мужем, и родила она ему подряд пять дочерей.

Бабушек помню только старушками. Но что изумительно: одна до глубокой старости хвасталась своими руками, тем, какие они у неё маленькие и красивые, а вторая не обращала ни малейшего внимания на свою внешность, будучи и лицом, и всем обликом намного приглядней соперницы. Обе бабушки до страсти любили пить чай. Обе часто плакали,

утирая глаза уголками чёрных косынок, но всегда втихую друг от друга, каждая в одиночку, находясь же вместе, обычно не позволяли себе слабости.

Когда, окончив школу, я уезжал из села учиться, одна бабушка говорила:

— Ты там, внук, быстрее устройся на работу и помогай своей матери, белого света не видела она, знай.

А вторая как бы со знанием дела советовала-напутствовала:

— Смотри, внук, в городе женщины крашенные, сплошь под штукатуркой, не поймёшь, где молодая, где старая, гляди, не обманись.

Такие они были — мои бабушки.

Литовка маленькая

К тому времени, когда мы остались без отца, две мои тётки уже были замужем. Две — пока дома. С весны и по осень они работали в поле, работали изо всех сил, от зари до зари, обгорая на солнце. А по вечерам, ночами, при лунном свете, их сочные молодые голоса раздавались в нашем огороде, в саду, в хлеву, на чердаке, в подвале, всюду они успевали, весёлые, неуёмные, крепкие, рукастые, не зная ни минуты покоя, всячески помогали старшей сестре поднимать осиротевших детей.

Дядя же мои были в отлучке. Старший на казахстанской целине пропал, а младший, отслужив армию, устроился в далёком северном городе шофёром.

А времена тянулись полуголодные, люди всё ещё не оправились от самой большой и разорительной войны.

Многим жилось неладно, а нам и вовсе приходилось туго без мужчины в доме. Семья не вылезала из нужды, хотя все дружно трудились. Собирали орехи. Низали табак. Косили сено. Рубили дрова, хворост. Починяли ограду. Копали, поливали, пололи огород. Делали всё и все — кому что по силам — никто не отлынивал от повседневных забот. Мать. Четверо детей. Две бабушки. Тётки. Сообща перемогали бесконечные невзгоды.

Особо старался я, подбадриваемый взрослыми. Обо мне сплошь твердили: мужчина в доме. Говорили: совсем малец, а какой молодец — всё время в работе. К примеру, всех умиляло моё участие в сенокосе. У меня была литовка маленькая, лёгкая, с коротеньким черенком. Ею я косил. Все смотрели на меня и восхищённо цокали языками. Мать никак не могла нахвалиться: мой сынок, говорила, мой первенец, мой помощник, моя опора, свет моих глаз. Слова эти нравились мне, втайне я радовался им, но вслух грубил матери: опять завела, мол, от людей стыдно.

Мельник

Мельница, не ветряная, не водяная, обычная мельница с дизельным движком, шумная, грохочущая на всё село, с высокой крышей и без потолка, с грубыми, из-под топора, голыми матицами, белыми от мучной пыли, впрочем, как всё и вся под этой

крышей, кроме тучных голубей и вездесущих воробьёв, облепивших матицы. По верхним углам висят в палец толщиной паутины, мохнатые, тяжёлые, мерно раскачиваются. Отчаянно гудит круг жерновов, вращается, руша, перемалывая зерно, и сеется, беспрестанно сеется по желобку мука, мягкая, нежная, почти что горячая духмяная мука, которую ссыпаю в мешок зеркально отполированным ковшом. Тут же мельник, тщедушный человек, сутулый, медлительный, с вечной сопелькой под носом, не поймёшь, старый иль молодой, такой весь белый, словно нарочно вывалян в муке.

Но вот пшеница моя, наконец, вся смолота, а мельник ни в какую не даёт мне взвалить мешок с мукой на спину.

— Нельзя с этих-то лет под таким мешком жилы рвать, — говорит он бранчливо. — Беги домой, милочка, беги себе налегке. А муку твою я пришлю с кем-нибудь...

Мамина подушка

Моя мать никогда при детях не плакала. Мать при нас не плакала, утром уходила на колхозную работу, вечером, во вторую смену, отправлялась на завод, сортировала там фрукты, овощи, потом, поздно ночью вернувшись и наскоро поужинав, ложилась спать, чтобы рано утром, с петухами, подняться и снова впрягаться в бесконечные заботы. Мать при нас не плакала. Но я догадывался, что мама только

при нас держит себя в руках, потому что у нас была подушка, мамина белая подушка, и она была жёлтая. Белая подушка сделалась жёлтой и не отстирывалась.

Лишь однажды, когда нам назначили пенсию за отца, радость, такая редкая гостья в нашей семье, радость так захлестнула нашу мать, что она при нас заплакала. Она плакала открыто, не таясь, плакала и улыбалась и казалась очень молодой и очень старой одновременно. Была поздняя ночь, мы не спали, приятно возбуждённые, сидели на веранде вокруг жарко натопленной жестяной печки с малиново раскалившимися боками, по небу плыли тяжелые тучи, то засты, то открывая полный месяц, словно от трения о него свинцово-тяжелых туч натужно раскрасневшийся, — и наша мать плакала и улыбалась, причитала, благодарила советскую власть, которая не забыла её сироток, — и на её печально-счастливом лице играли блики огня.

Материнские когти

В моём воображении существует нечто вроде притчи — не знаю, правда, то ли я выдумал её и сам поверил в свою выдумку, то ли приснилась она мне, то ли наяву, в реальной жизни наблюдал, не могу в точности определить, только долгие годы ясно видится мне живая картина: кошка окотилась, прошло несколько дней, и бабушка собрала котят в передник, пошла разносить по соседям, а когда она, раздав их,

вернулась ко двору, поднялась на веранду, кошка подкралась, запрыгнула ей на спину и заорала дико, притом вместе с ней ужасно завопила и бабушка, и все мы выбежали на веранду и застали невероятное: бабушка, согнувшись, уперлась руками о перила и кричала, точно ополоумев, что-то невнятное, а кошка вцепилась когтями ей в спину и, ощерив розовую пасть, визжала страшным, почти человеческим голосом; все засуетились, зашумели, желая спугнуть, согнать её, но тотчас же убедились, что это невозможно, что она впилась намертво и, едва подступали ближе, казалось, ещё глубже запускала когти, причиняя бабушке невыносимую боль; потом, помнится, кто-то догадался и выкрикнул, что нужно вернуть котят, что иначе она не поддастся, и я опрометью кинулся по соседям, и скоро, когда принёс первого из четверых её котят, кошка мягко соскочила на пол, подхватила зубами пушистый комочек и большими прыжками взлетела по лестнице на чердак...

Нежданная радость

Издали мерцает слабый свет нежданной радости: приехал мой младший дядя с молодой женой. Дядя ни на кого из знакомых мне людей не похож, он очень высок, густоволос, всегда серьёзен, красиво, даже щеголевато одет, говорит мало и негромко, но я, кажется, без слов, с одного взгляда его понимаю, и он, кажется, понимает меня. Я безоговорочно влюб-

лён в дядю, всюду таскаюсь за ним, чутко ловлю каждый его жест, каждое слово, движение.

И жена его чудненькая, вроде крупная, тяжелова-
тая, но ловкая, быстрая и простая, без умолку о чём-
то болтает и смеётся, всё смеётся и болтает. И всем,
всем в доме нравится, хотя ни я, ни мать моя, ни ба-
бушки, никто-никто, кроме дяди, толком её не пони-
мает, поскольку она русская и говорит на своём язы-
ке. Иногда она обнимает меня и горячо и порывисто
прижимает к себе и шепчет что-то ласковое, души-
стое, фиалковое — так запало в воображение, и я с
предслёзным напряжением вслушиваюсь в чистые,
певучие звуки её голоса, вслушиваюсь, и от натуги
вникнуть в их смысл такая жгучая досада разбирает,
что впору хоть плачь, но домашние дружно и весело
успокаивают, мол, не унывай, парень, на другой год
пойдёшь в школу — и запросто выучишься лопотать
по-русски, и я с нетерпением подсчитываю дни, не-
дели, месяцы, томлюсь в ожидании спасительной
школьной поры!

А дядя с женой между тем навсегда остаются в
селе, так они, во всяком случае, говорят, и это здоро-
во, все безмерно рады, счастливы, наконец-то в доме
будет мужчина, опора и защита от всех житейских
бед. Но в селе они прожили всего несколько месяцев,
и я мало что запомнил из той совместной жизни.

В памяти возникает только то, как дядя рубил
дрова, и всё, пожалуй, словно он всё время, изо дня в
день лишь тем и занимался, что без конца рубил,
пилил, колол дрова, а я всё крутился подле, то скла-
дывал в штабеля расколотые поленья, то с гордостью

держался за один конец двуручной пилы, то просто играл близости, увлечённо катался верхом на палочке, не спуская восхищённых глаз с дяди.

Только хорошее

Всё же то были хорошие времена. В садах и полях частенько звучали песни, и доверчивые, непринуждённые посиделки случались, и безобидные скороговорчатые перебранки, но главное — люди сплошь открытые, добрые, чуткие. Помнится, в селе была грузовая машина, вся такая утлая, без тормозов, без сигнала, без стёкол, шофёр обычно издали, завидев впереди людей, начинал хлопать ладонью по дверце кабины и, вытаращив глаза, дурным голосом орал:

— Посторонись, без сигнала и без тормозов! Посторонись!..

А если предстояло остановиться — тем же тоном командовал:

— Кинь чего под колесо!.. Быстрее кинь!..

И кто-то бегом догонял, подкладывая под еле катящееся колесо подвернувшийся камень. Этот-то человек всякий раз, выйдя из машины, если я оказывался поблизости, подзывал меня и, порывшись в карманах, одаривал рублём, говоря неизменное:

— Сынок, твой отец — да поможет ему Бог — был отличным парнем!

А ведь никем он нам не приходился — ни роднёй, ни близким соседом. Не потому ли, что вокруг находились такие люди, не потому ли иногда с таким

упоением, с такой слезливой ностальгией вспоминается скудная красота невозвратно ушедшей жизни?..

Я вообще никогда не слышал, чтобы кто-нибудь в селе помянул отца недобром, напротив, о нём говорили только хорошее и часто ставили мне в пример. Даже домашние, те же мои бабушки, в самые тяжкие, невыносимо горькие дни хвалили отца. Что хвалила отцова мать — понятно: он был её сын. Но и вторая бабушка при всём своём непростом характере и норовистости тоже очень уважительно и с благодарностью отзывалась о зяте. Прямо ни одного худого слова не произносила, хотя вспыльчивая и острая на язык, обычно никого не щадила.

Кто знает, быть может, отец и вправду отличался чем-то таким особенным. Меж тем он ведь был обыкновенным хлеборобом — на тракторе работал, на комбайне в каком-то таинственном и значительном месте под названием ЭМ-ТЭ-ЭС. Долгие годы я не понимал смысл этих диковинных звуков.

Сон

В те годы частенько мне снился один и тот же сон: кругом пшеничное поле, по которому, словно куда-то спеша, торопливо несутся тени, отбрасываемые плывущими в знойном небе облаками. Я с отцом за штурвалом комбайна. Отец весь в пыли, но довольный, улыбается и показывает пальцем на убегающие тени и говорит, что одну из них мы сейчас

догоним и привяжем к штурвалу, чтобы не так жарко было. Я в азарте погони подгоняю отца — быстрее, быстрее! — и мне кажется, что вот-вот мы настигнем, наедем на тень. Но тень всё уносится от нас, мчится, уходя всё дальше и дальше. Я досадливо поворачиваюсь к отцу, хочу попросить, чтобы он ещё быстрее поехал, но вижу: отца нет рядом. Я растерянно озираюсь: вокруг, куда глаз хватает, пшеничное поле, над которым струится марево и стоит оглушающий звон кузнечиков, а отца нигде нет. «Папа!» — испуганно вскрикиваю я, но голос мой вязнет в звоне кузнечиков, в кипении марева, в шелесте улывающих облаков. И я с ужасом вижу вдруг, что отец мой сидит на мягком белом облаке, которое уже далеко-далеко, на краю неба. Я снова зову отца, машу руками, плачу, размазывая слёзы по лицу, а отец верхом на облаке всё удаляется и удаляется. «Папа!.. Па-а-па-а!..» — кричу в отчаянии. — Ну, па-а-па-а-а!.. — от этого истошного крика своего я просыпался всякий раз и после долго не мог заснуть.

Запах счастья

Пахло забродившим тестом — мать задумала наутро испечь хлеб и с вечера поставила квашню. В комнате сумеречно тихо, холодно. Я с сестричками и с братишкой лежу в постели и, высунув нос из-под одеяла, смотрю на дверь. Вот она распахивается, входит мама с охапкой дров, которые грохает на пол, и, став на колени, открывает дверку печки — выгребает

в тазик остывшую за ночь золу, потом всовывает-складывает в печку поленья, потом, нащепав лучину, пихает туда же, потом комкает клочок бумаги и тоже в печку. Вслед за этим мама чиркает спичкой, поджигает, и пока еще жидким, робким шумом занимается огонь, и на стене против дверки начинают прыгать блики, сперва вяло, затем всё веселей, всё надежней. Тем временем мама заносит в комнату большой казан с водой, ставит на печку, в утробе которой, набирая силу, играет, позванивает, поёт огонь. Скоро тонкие бока жестяной печки накаляются, румянятся — и мы, дети, помаленьку согреваемся, один за другим откидываем одеяла, лежим, блаженно-счастливые, тихие, впитываем в себя тепло — тепло материнской заботы и любви. А мама уже стоит над кадкой, просеивает муку, равномерно шлёпая ладонями по ситу, волосы её аккуратно подобраны, повязаны платком — и пахнет мукой, мамой, ранним утром и огнём, счастьем пахнет...

Светлоглазые люди

Первая моя встреча со словом русский такова: в наших краях не растёт крыжовник и названия, само собой, не имеет. Единственный куст, густой, тучный, усыпанный как бы просвеченными солнцем хрусткими ягодами, Бог знает, кем и когда завезённый в село, рос в соседском дворе и назывался почему-то «русским виноградом».

Тогда же, помнится, к нам на воскресный базар приезжали рослые, бородатые, светлоглазые люди. Приезжали на громадных двухосных телегах, запряжённых тройками, привозили зерно, яйца, шерсть, голубей, а увозили водку целыми штофами, свинину, пряности. Их называли то молоканами, то русскими. И долгое время слова эти для меня были синонимами.

Всё приезжают...

Говорят, он был хорошим парнем. Говорят, он был даже лучше своих сыновей. Говорят, ты же сам видишь, разве от плохого парня могли вырасти такие ребята?..

Я не знаю, не могу знать, каким он был на самом деле. Он скончался задолго до моего рождения. Но история, оставшаяся после него, но жизнь, заложенная им, всё ещё продолжается.

О его детстве и юности мало что мне известно. Скорее всего, он ничем особым не отличался от своих сверстников. Так же ходил в школу, так же шалил, как и вся сельская пацанва, лазал по деревьям, разорял птичьи гнёзда. Потом, окончив школу, года на три отбыл из села — выучился в городе на зубного врача и приехал обратно. И всё, пожалуй. Из той поры уцелела лишь одна его фраза. Сельчане вспоминают, будто, собираясь удалить больной зуб, обычно он то ли в шутку, то ли всерьёз говорил пациентам:

— Только не кричи, милый, прошу тебя, не кричи, пожалуйста, а то у меня сердце слабое.

Такой-то человек, когда грянула война, вместе с пятьюстами сельчанами ушёл на фронт. Многих, конечно, побило на той бойне, многие полегли, а иные пропали без вести, но он, провоевав все четыре года, остался жив. Израненный, заметно покалеченный, он вернулся домой победителем. Да к тому же с молодой женой. С русской. Родом из далёкого сибирского городка. Опять же не очень ясно, какая она была обличем или норовом. В селе сплошь утверждают: хорошая была, куда лучше многих сельчанок. Говорят, он её на руках носил, а она его с ложки кормила.

Но так счастливо они прожили недолго. Успели народить двоих детей, и у него дали о себе знать фронтовые раны: слёг в больницу, месяца три помучался и скончался. Жена погоревала, погоревала с год, взяла детей и уехала в свой сибирский городок. Сельчане думали — всё, больше не свидятся. Но нет, она не порвала с роднёй покойного мужа. Слала письма, открытки. Лет пять спустя и сама с детьми объявилась. В гости.

На другое лето снова приехала. И на третье. И так из года в год. Кто знает, как они там жили в своём сибирском городке, как сводили концы с концами и откладывали средства на дорогу, но каждое лето приезжали, одолев тысячи километров. Скоро дети выучили язык, стали совсем своими. А когда поступили в институты, бывало, и без матери, одни приезжали. Ни одного года не пропускали. Теперь давно обзавелись семьями, и мать умерла, и у самих

уже взрослые дети — а всё приезжают на родину отца. Всё приезжают. Приезжают...

Армянофилка

Хотя давно с нею знаком, учились когда-то вместе, на одном факультете, в одной даже группе, но я не знал её толком, не знал, что она носила в себе все эти годы, о чём мечтала и как вообще жила. То ли такая скрытная, с загадкой, то ли так себе, пустышка недалёкая, но с претензией, не поймёшь, всегда держалась сухо и неприступно. Да и виделся я с ней после университета редко, от случая к случаю. Мне известно только, что в студенческие годы увлекалась армянами. Учила армянский язык. Крупица за крупичей выписывала из книг, учебников сведения об армянах. Даже диплом защитила по армянской истории.

На летние каникулы ездила в излюбленную страну в гости. Вернувшись оттуда, так и сыпала армянской речью, так и сыпала, невзирая на то, понимаешь ты её или нет. Когда её знакомили с кем-то из кавказцев, тотчас спрашивала, не армянин ли тот, если оказывалось, что нет, до неприличия откровенно теряла интерес. Такая странная женщина. Такая армянофилка, кстати, весьма красивая и элегантная, до тридцати пяти лет не устроила свою личную жизнь — не вышла замуж. Жила одиноко и замкнуто, никого к себе не подпуская.

А в тридцать шесть взяла и неожиданно для многих родила. Тут-то и всплывает старая как мир исто-

рия: выясняется, что столь ревностное увлечение всем армянским началось с её девичьей любви к армянину. С любви первой и неразделённой, горестной, ибо парень не мог, не имел права жениться не на армянке. Отвергнутая, она не пала духом, напротив, заваливала своего избранника письмами, ежегодно наезжала в гости и звала его к себе. Так шли годы. Шла жизнь. Он давно женился, имел детей и любил свою семью, ничего ей не обещал, всячески избегая интимных отношений. По всему, он был холодным и очень правильным человеком. Но она вела себя напористо, впрочем, с годами на многое и не рассчитывала — всего лишь хотела родить от него, что ей и удалось, наконец, спустя почти два десятилетия после первой встречи с возлюбленным.

По первой пороше

В начале зимы, по первой пороше, так сказать, случился шумный семейный скандал. Жена пришла домой на обед и по следам пред крыльцом поняла, что муж тоже пришёл, хотя самого нигде не видно. Она малость удивилась: муж обычно обедал на работе. Она стала громко звать его, озираясь по сторонам, но он не откликнулся. Тогда она по его же следам вышла в ореховый сад за домом и увидела, что они, широкие, чуток косолапые, следы по свежему снежку тянутся к дальнему оврагу. Она молча пошла рядом с этими следами, пока ни о чём конкретно не думая, но смутно предчувствуя что-то неладное. Чем

дальше шла — тем поспешнее и нетерпеливее, казалось, становились следы мужа. Она всерьёз занервничала: куда он так торопился? — и тут же, чуть левее, метрах в пяти, заметила другие следы, узкие и аккуратные, явно женские, что строчили от соседского подворья. Она с интересом ускорила шаг. Довольно долго мужские и женские следы шли параллельно, не сближаясь и не отдаляясь, после начали постепенно сходиться и над самым оврагом сошлись окончательно, беспорядочно потоптались на одном пяточке, а дальше женские следы вовсе исчезли — в овраг по отлогому скату спускались, оскальзываясь, одни только тяжёлые мужские следы. Обескураженная, она беззвучно заплакала, стоя над глубоким оврагом, густо заросшим дремучим орешником, ольхой и ежевикой. Потом вернулась ко двору, вне себя от гнева и обиды, и решила не возвращаться на работу. Дождаться мужа. Однако ждать ей пришлось долго — муж пришёл лишь поздним вечером. Он казался веселее и беспечнее обычного, он шутил и смеялся, совершенно не замечая её состояния. Раз даже шаловливо попытался хлопнуть жену пониже спины, но она злобно отбила его руку и со слезливым воплем кинулась на него.

Ровесница века

Галина Михайловна была ровесницей века. Она была интеллигентной и весьма начитанной женщи-

ной. До глубокой старости декламировала стихи русских классиков. Иногда мы подолгу беседовали.

— Галина Михайловна, помните ли вы революцию? — спросил я как-то.

— Революцию? Нет, пожалуй. Ведь она случилась в Петербурге. А мы жили здесь. Я была молода, увлекалась поэзией, музыкой, политика не интересовала меня. Помню лишь: как-то ночью мимо нашего дома проскакал конный отряд — и более ничего. Только через месяц отца сняли с работы. Отец мой служил начальником почты. Он пришёл домой и сказал, что страной теперь правят большевики, и что новые власти отстранили его от службы. Четыре месяца отец сидел дома. Потом пришли и пригласили его на то же место.

— И — всё?

— Что же ещё? Отец был хороший работник. Занимался своим делом, и только. В нашем доме никто не интересовался политикой. Никто нас и не трогал. До революции мы жили в пятикомнатной казённой квартире. После революции осталась та же квартира. Лет десять, пока отец служил на почте, никого к нам не подсаляли. Да и семья наша была большая.

Будничный день

Помню, когда забрали ребёнка, дочь мою, из роддома, как много людей собралось в нашей квартире: моя мать, тёща, тесть, моя сестра, её взрослая дочь и, кажется, ещё кто-то, не считая меня и жены,

как все радовались и поздравляли друг друга с новорожденной... и как в тот же день случился шумный скандал. Тесть мой взялся стирать пелёнки, мать моя увидела, как он, засучив рукава, принялся за дело, громко возмутилась:

— Это что за позор такой — полный дом женщин: мужчина пелёнки стирает!

— Не беспокойтесь, сваха, он и за своими детьми стирал, — стала успокаивать моя тёща. — У него это лучше всех получается.

Моя мать молча зашла в ванную и попыталась отнять у тестя постирушку. Но тот наотрез отказался уступить своё место. А тёща моя всё настаивала: не беспокойтесь да не беспокойтесь. Но моя мать — как истинная южанка — была категорична: либо сейчас же избавьте мужика от бесстыдства — либо ноги моей больше не будет в этом доме. И пошло-поехало, все зашумели, заговорили разом, закрывшись на кухне, чтобы не разбудить спящего младенца.

Я держался в стороне, ни во что не вмешивался. Когда страсти на кухне совсем накалились, я незаметно покинул квартиру. Вышел во двор без определенной цели и увидел, что пока мы колготились в тесной кухоньке, отшумел весёлый весенний дождь. Ещё капало с деревьев, с карниза дома. Пред соседним подъездом, на скамье под тополем, сидела соседка-старуха, всегда неряшливая и дурно пахнущая. Она жила одна с тремя собаками и девятью кошками. Две её дочери своими семьями проживали в нашем же доме, но не общались с матерью из-за её сума-

спешней привязанности к кошкам и собакам. Я издали кивком головы поздоровался со старухой.

— Моего Джульбарса не видали? — спросила она.

— Нет, не видел, — ответил я и закурил, наблюдая за четой жирных городских голубей, которые, степенно обходя лужи, шествовали по каким-то своим интересам. Громко хлопнула дверь дальнего подъезда — и оттуда с шумом выскочили парень с девушкой и, взявшись за руки, весёлые, молодые, счастливые, устремились прочь. У девушки была русая коса, и она достигала аж щиколоток. Никогда раньше такой длинной косы не встречал.

— Джульбарс пропал, — сказала старуха как бы самой себе. — С утра убежал куда-то и всё не возвращается.

Был обычный будничн^{ый} день. Я стоял посреди двора. Моей дочери было всего пять дней от роду. Моя родня спорила — кому стирать пелёнки: женщине или мужчине. А впереди была ещё долгая жизнь...

Лета середина

Живу один. Мои на каникулах. Гостят у бабушки. Третьего дня бросил пить. Думаю — надолго. Мне грустно и тоскливо. Хожу молча и мрачно по квартире. Телефон тоже безмолвствует. Я со всеми переругался — и все мне изменили или я изменил всем — всё равно. Да и некому мне особо звонить-то.

Я как-то это понял. Все те люди, с кем мне интересно, с кем ежедневно общаюсь, все, кому доверяю, кто мне дорог, давно там, откуда нет возврата. С ними не поговоришь по телефону. Вот потому и за четыре дня произнёс всего два слова. Отправившись за хлебом, сказал продавщице:

— Пеклеванного, пожалуйста.

Между тем вызрела лета середина. А я изо дня в день без дела томлюсь в жаркой и сиротливо опустевшей квартире. Не работается и даже не читается. Так же тоскливо мается костляво-худющая кошечка — мыкается из комнаты в кухню и обратно и всё, кажется, чего-то или кого-то ищет, не обращая на меня никакого внимания. Она словно обижена, что её оставили одну со мной, ничего не ест и не пьёт. В аквариуме же среди водорослей, камушков и улиток живёт одна-единственная щегольски яркая рыбка — и мне порою грустно, до боли грустно бывает наблюдать за ней, за её жутким одиночеством.

В принципе, вся моя жизнь — череда ошибок и раскаяний. Я вообще состою из одних недостатков. Так мне кажется. И ко всему прихожу через самоистязание. Знал бы кто, как я надоел самому себе. Как надоел — хоть вешайся. А как я надоел другим людям — близким и не очень. Но умирать не хочется. Жалко умирать, потому что я ещё не написал, скажем, дерево дикой алычи на моей родине. Я не написал его в пору, когда алыча поспела, и всё дерево как бы горит жёлтым пламенем, я не написал, как я по полдня пропадал на этом дереве, ловко устроившись на развилке, срывал и отправлял в рот плод за плодом

ярко жёлтую, насквозь светящуюся алычу, смакуя, отсасывал сок и выплёвывал кожицу с косточкой — и земля внизу тоже постепенно желтела. Да мало ли чего я не написал ещё. Не хочется умирать.

Букетик влажных ландышей

Встречались около двух лет, считай, что жили вместе, как муж и жена. Закончив учёбу, уехала к себе и ещё целый год ждала тебя, зазывая к себе и надеясь, наверное, что, может, если и не приедешь, то хоть её отзовешь обратно. Но ты молчал, слегка увлечённый другой женщиной, и она вышла замуж. После приехала за какими-то документами, чуть похудевшая, совсем чужая. Уже беременная. Ты хорошо встретил её, легко и весело, не считая, что малость нервничал, отчего и подтрунивал чуток, безобидно потешался над её замужеством. Потом проводил с вокзала с хрустким букетиком влажных ландышей, с грустным троекратным поцелуем и парой дорогих, всё ещё дорогих её слезинок.

Такая жизнь

У них родился больной ребёнок, увечный и физически, и умственно: что-то ненормально было с нервной системой. Ходили, конечно, по врачам. Ходили долго, упорно, но ребёнок оказался неизлечимым, о чём врачи однозначно сказали им, и намекнули, что,

если они не против, если решатся, могут устроить ребёнка в приют. Понятно, не сразу они согласились, они переживали, колебались, на что-то надеясь. Но вмешались родители жены, и вскоре сдали ребёнка. Само собой, были всякие сопутствующие разговоры, споры, слёзы, но понемногу всё утряслось. Спустя время, когда у молодых родился ещё один ребёнок, уже нормальный, здоровый, всё у них вроде пошло на лад. Ребёнок рос, супруги радовались, лишь изредка с тихой грустью вспоминая о своём неудачном первенце. Шла жизнь, шла в будничных хлопотах и заботах. Но однажды они узнали, что родители мужа, сердобольные старики, на выходные забирают их первенца домой. Они удивились и испугались, не зная, как к этому относиться. Они занервничали. Они утратили интерес ко всему, даже друг к другу, и подолгу не разговаривали меж собой, а по выходным — вовсе сутками молчали. И боялись пойти и посмотреть на своего первенца. Правда, он, муж, разок ходил, но от жены скрывал. Она же не могла набраться смелости, она страдала, истязая себя сомнениями, и старела ото дня в день...

Очень люблю кошек

Далеко за полночь. За окном сеется осенний дождь, мелкий, невесомый, почти морось, всё кругом набухло влагой, город тих, пуст, не ходят уже трамваи, троллейбусы и автомобили, только уличные фонари сиротливо горят в мутной дымке. Ты устал.

Ты страшно устал, глаза слипаются, затылок затвердел, налился тяжестью. Ты встаёшь из-за рукописи и ставишь чайник на газ и, сев обратно за стол, тотчас забываешься, рухнув головой на руки, и тебе снится, как котёнок срывает, стаскивает со спинки стула одежку, тащит на кухню, сворачивается клубком на кофте или рубашке — и спит у твоих ног. Во сне тоже глубокая ночь: ты сидишь в одиночестве, пьёшь чай вприкуску и смотришь по телевизору «8,5» Феллини, и тебе почему-то жалко котёнка.

Должен признаться, я очень люблю кошек. Не вообще кошек, а тех, которые у нас жили. Одна и сейчас есть. Люсей зовут. Девственница, хотя ей уже пятый год. Никогда не была на улице. Только однажды прошлой зимой я вынес её во двор, увидела белый снег и таким матом заблажила, так заверещала, уцепившись коготками мне в плечо, что я быстрее занёс её обратно в квартиру.

Ещё она любит целоваться. Происходит это действие таким образом. Жена говорит: Люсь, пойдй поцелуй папу, мясо тебе дам. Люся подходит ко мне, лезет на колени, передними лапками цепляется за футболку на моей груди и, вся вытянувшись, трётся мордахой о мои щёки. Потом прыгивает на пол, идёт к холодильнику и ждёт обещанного мяса, всё оглядываясь на жену. Но жена не торопится, слегка издеваясь над ней, и кошка опять лезет ко мне целоваться. После снова к холодильнику. Так повторяется не раз и не два, наконец, жена уступает, швыряет её на пол положенный кусочек мяса. Моя мать, гостя у нас, как увидела такое, воскликнула:

— Да вы сумасшедшие, и вы, и ваша кошка! Сроду такого не видала. Как вы её научили?

Я и не помню, когда и как это началось. Просто я уверен, что кошки гораздо умнее, мудрее собак, но они не выпячивают себя. Мудрость всегда скромна и молчалива, незаметна. Впрочем, Люся весьма капризная кошка, балованная. К примеру, речную рыбку не ест, подавай только морскую. Да много чего о кошках можно рассказать. Я раз десять, если не больше, писал о них в своих книгах. Но мне всё неймётся.

Алиска тоже была домашней кошкой — не знала ни улицы, ни котов, то есть прожила свою кошачью жизнь старой девой. Помню, как однажды жена завела в квартиру соседского кота, но наша Алиска такой шум подняла, так визжала, вся оцерившись, и так наскакивала с когтями на бедного кота, испуганно сжавшегося в углу прихожей, и всё это до тех пор, пока не выпустили кота обратно за дверь.

Только тогда Алиска чуток успокоилась, хотя ещё долго то и дело с недоверием выходила в прихожую, осторожно подходила к двери и всё мяукала, как бы жалуясь на такое наше вероломство: как же, на её родную территорию пустили какого-то кота.

Так она жила — без улицы и без положенного по природе кота, и всем была довольна. Впрочем, раза два в год та же самая природа давала о себе знать, и Алиска начинала орать днём и ночью, всё носилась по квартире, не находя себе места, случалось, опрокидывалась на пол и каталась на спине, не переставая орать и стонать. Жена теряла, наконец, терпение,

отправлялась в зоомагазин и приносила необходимые кошачьи таблетки, и очень скоро Алиска успокаивалась.

Её всегда отменно кормили, её время от времени купали в ванной в тёплой воде и с шампунем, и спала она исключительно с моей женой на одной подушке, верно, считала жену то ли матерью, то ли единственной подружкой, а может и то и другое вместе.

Надо сказать, что она была красивой кошкой, наполовину сиамская, худая, стройная, преимущественно белой масти, только кончики ушей и хвоста чёрные. Такая вот дивно красивая и всеми любимая кошечка как-то захворала: совсем перестала есть, что ей ни подавай, и целыми днями ходила и жалостливо мяукала.

Жена понесла её к врачам, благо недалеко от нас зооветеринарный институт. Там её обследовали и обнаружили рак матки, и сказали, что околет, если не прооперировать. Она уже в возрасте была, девятый год шёл, и по уму надо бы просто усыпить её, чтобы не мучилась. Но жена моя согласилась на операцию, за что заплатила две тысячи рублей.

После операции трое суток кошка находилась в реанимации, организм её за время болезни резко ослабел, систему с витаминами ставили и прочее, прочее. За это время по совету врачей жена сшила ей что-то вроде жилетки-бандажа, чтобы она не зализывала рану со швом. Принесла Алиску домой в специальном кошачьем контейнере и в этой жилетке.

Нашу кошку нельзя было узнать. Страшно худая, со свалявшейся шерстью, с истекающими глазами,

она медленно, пошатываясь, ходила по квартире, пытаясь обнюхать родные углы, и то и дело валилась от слабости набок. Однако на другой день вроде чуток ожила, начала понемножку что-то есть, и нам казалось, что она поправляется.

Хотя, конечно, это было мучительное зрелище видеть, как она привычно разгоняется, как и прежде, чтобы запрыгнуть на пианино, но не хватает сил допрыгнуть, с костлявым стуком срывается на пол. А ночами постоянно стонет, поминутно вздрагивает и что-то внутри у неё хлопает.

Так длилось несколько дней. Потом как-то в третьем часу ночи вышла на кухню, а я не спал ещё, сидел себе и что-то читал. Алиска посмотрела на меня слизистыми мутными глазами, жалобно мяукнула и попыталась потереться мордочкой о мою ногу, но не смогла — повалилась набок, закатила глаза и затряслась в конвульсиях. Я кинулся, разбудил своих и вот на наших глазах в течение 10-15 минут Алиска в чудовищных муках померла...

В плацкартном вагоне

Едем в поезде. Все в вагоне спят. А я сижу у окошка. Потихоньку рассветает. Состав останавливается на каком-то степном полустанке. Наступает тишина. Но тишина в вагоне не бывает полной. Вон из соседнего купе доносится могучий мужской храп. Вон на верхней полке нашего купе златовласая девушка во сне что-то жаркое зашептала. Вон жена

моя выпрастывает из-под простыни руки и с хрустом в суставах потягивается. Вон снаружи раздаются какие-то невнятные женские голоса. Я с интересом выглядываю в окошко. Неподалёку несколько невзрачных домиков. Четыре часа утра, а там все встали, коров выгоняют, тихо переговариваясь. Вроде ничего примечательного, но на душе отчего-то так покойно и радостно!..

Новый юрд*

Машина плавно тронулась с места, за нею с лаем припустила рыжая соседская собака, а впереди гуси с поздним выводком вперевалку отбегали в сторонку, выгибая шеи, угрожающе шипели. Я собрался посмотреть, где мой брат надумал построить новый дом и теперь он вез меня туда на своём автомобиле, почти бесшумно скользящем по узкой дороге мимо плетней, дощатых заборов, каменных оград, мимо огородов, садов, седых от пыли, мимо дворов. Вон промелькнули две женщины, о чём-то болтавшие, опершись грудью на плетень, повернув головы, с любопытством посмотрели нам вслед. Вот на скамейке под раскидистым ореховым деревом сидят два старика — дед Никал и дед Манас. Так же они сидели, когда я уезжал из села в первый раз, так же сидели, когда приезжал или уезжал после отпусков, сидели молча, попыхивали папиросами, отрешённо глядя перед собой.

Привычная была картина. Всё здесь было своё, все люди знакомые, родня везде жила, друзья-товарищи, соседи. Всего лишь два дня назад я приехал в родное село, а было такое ощущение, будто совсем не уезжал отсюда, не отсутствовал целых четверть века, изредка навещаясь в гости. Что интересно, жизнь до отъезда из села виделась мне неисчерпаемой воспоминаниями. А последующие городские мои годы, вроде бы насыщенные, деятельные, казались куцыми, незаметно промелькнувшими. Много всего было, но почти всё измельчало, растворилось в суете. Память хранила какие-то куски, обрывки, отдельные случаи — не было неразрывной цельности.

Скоро машина остановилась на большой круглой поляне, посреди которой громоздились серые штабеля кирпича-сырца. Трава под ногами была жесткая и грубая, пожухлая, выгорела до времени. Мелкорослый лесочек, обступивший поляну, тоже казался хилым, чахлым.

— Не лучшее место, конечно, ты выбрал, — оглядевшись, сказал я брату. — Главное, как далеко от людей. Как тут жить-то собираешься?..

— Это ничего. Здесь сразу несколько человек взяли участки. Так что соседи будут. Только родника поблизости нет, каждый себе колодец вырыл.

Подожли к аккуратно сложенным штабелям, заботливо прикрытым прозрачным полиэтиленом. Я потянулся, вынул сверху один кирпич. Серый, глиняный, с жёлтыми прожилками соломы, хорошо просушенный, крепкий, кирпич был лёгок, шершав и колок.

— Сколько кирпичей на дом уходит?

— Да тысяч пятнадцать, не меньше.

— Ого! — изумился я. — Много-то как.

Делать кирпич нелегко, я это с детства знал. Пожалуй, это самая трудоёмкая, ответственная часть работы, когда затеваешь строение. Как долго нужно орудовать лопатами, перекапывая, разрыхляя грунт по кругу. Как много нужно рубить, крошить, измельчать солому. Сколько вёдер воды нужно плеснуть на круг, а когда он залит так, что сочной жижей сверкает на солнце, тогда уж можно запускать буйволов, связанных попарно: две пары, три, чем больше, тем лучше. И вот бегают не бегают, а поначалу довольно ходко буйволы трусят по кругу, круг за кругом, весело понукаемые со всех сторон, без конца топчут, ископывают чавкающее месиво, спотыкаясь и отхлёстываясь хвостами, отгоняя докучливых мух и слепней.

Но вот проходит время, и буйволы, изморившиеся, вымученные, останавливаются, с вековечной тоской в небольших дымчатых глазах глядят на людей, но их тут же подстёгивают, достают длинным хлыстом, покрикивают, улюлюкают, матюкают для верности — и они снова пускаются враскачку по кругу, покорно месят глину, смешанную с мелко нарубленной соломой, но с каждым кругом всё медленнее и медленнее, понурив головы, тяжело поводя боками, — и так полдня, а там им дают передышку часа на три-четыре, кормят и поят уставших животных, потом опять гонят на круг, мятый-перемятый, но ещё не поспевший.

Но ведь нынче в селе практически нет буйволов.

— Слушай, как теперь глину месят? — спросил я брата. — Буйволов-то нет.

— А трактор на что? «Беларусь» за два часа так управляется, что с буйволами и за неделю не перетопчешь. Пойдём, колодец поглядим.

Хороший стоял день, чистый и тихий, с высоким лазоревым небом, с нежарким солнышком. Ласточки с весёлым чивиканьем носились, кружились над головой, и чудилось, будто эти махонькие птички знали, что люди новый юрд закладывают, что скоро здесь вырастет человеческое жильё с теплом, уютom, с детскими голосами, будто знали, догадывались об этом и вот облётывали эту пока ещё пустую поляну на отшибе от села, заранее радуясь тому, что человек и их пустит под свой кров, они из глиняных комочков и соломинок вылепят себе гнёзда, выложат мягким пухом и заведут семейство.

Мне вдруг открылась простая и такая очевидная связь всего сущего на земле: вот люди кирпич делают точно так же, как ласточки гнёзда лепят, из глины и соломы.

Колодец был узок и глубок. Я заглянул внутрь ровного и гладкого, что труба, ствола — в изрядной глубине едва заметно и маслянисто отсвечивала вода.

— Как же туда спускались? — удивился я.

— Да есть один мастер по этим делам. На верёвке спускается. Целый день скребёт там лопатой с коротким черенком. Туда же просит каждые два часа спустить сто грамм водки с закуской. Выпивает, закусывает и опять скребёт себе — и так несколько дней.

В сторону от колодца неровной, волнистой грядой тянулся тяжёлый на вид грунт, и чем дальше, тем казался он светлее, с малой долей песочка ли, золы — было непонятно. Я шагнул ближе, носком полуботинка поддал по грунту, который, веером сбившись, рассыпался, и обнажилось там что-то матово-коричневое. Я нагнулся, поднял — то был черепок амфоры. Я поколупал ногой, увидел ещё осколок, потом ещё и ещё — и вскоре обнаружил много черепков. Сомнений не могло быть — в этих местах когда-то давным-давно жили люди. Я учился на историческом факультете и у меня имелся кое-какой опыт в распознавании старины.

Это было странно, что тут жили люди ещё тысячи лет назад... Впрочем, если хорошенько подумать, ничего странного, раскопали же в нескольких километрах отсюда древнейшую нашу столицу. Я вдруг представил себе людей, которые когда-то рождались здесь, росли, любили, рожали, радовались и печалились, надеясь на что-то бесконечное, вечное. Трудно жили, часто болели, старели и умирали, а после них остались всего лишь какие-то осколки домашней утвари, захороненные глубоко под землёй.

— Здесь было древнее поселение, — сказал я, поймав недоумённый взгляд брата. — А мы всегда считали, будто в этих местах издревле леса стояли...

Мы сели на землю, с удовольствием закурили, и я стал говорить о древности, археологии. Между тем солнце постепенно клонилось к закату. Над головой по-прежнему носились ласточки. Невдалеке, в лещочке, разорялись горластые сороки. Время от вре-

мени я поднимал голову и видел вдали снежные вершины гор, а над ними ярко-голубое небо, по которому полз едва видимый серебряный крестик высотного самолета, оставляющего за собой молочно-белый шлейф инверсионного следа. В какую-то минуту самолёт этот навеял мысли о городе, откуда я два дня назад улетел почти на таком же самолете. Я представил рядом с собой жену с дочкой на этой поляне, и всё во мне занялось нежностью.

Я где-то вычитал, будто в какой-то немыслимой давности человечество не знало романтической любви, то есть любви в нынешнем её понимании, дескать, тогдашние люди знали только половое влечение, более или менее одухотворенное. Мне это сейчас показалось несусветной глупостью. Я никак не согласился бы с тем, что люди, некогда жившие здесь, в этих местах, так же, как и я в этот день, не тосковали по возлюбленной. Ведь на земле всегда были трава, деревья, и эти птицы были, их песни, и те же громады гор с белоснежными гребнями, и, стало быть, в центре всего этого была и душа людская, и томление этой души...

В какой-то момент я взглянул на брата и увидел, что он сидит, склонив голову, с очень усталым и грустным лицом, и явно далёк от всего того, о чём я с таким упоением разглагольствовал. Мне стало неловко, вместе с тем я вдруг ощутил острую жалость к брату и подумал, что вот проходят годы, а мы видимся очень редко и постепенно отдаляемся друг от друга.

— Огород новый будешь смотреть? — спросил брат.

— Конечно, — ответил я. — Обязательно посмотрю...

— Ну, иди пройдишь. Мне-то там всё давно надоело.

Я встал и неспешно зашагал через захудалый лесочек к соседней небольшой поляне, которую брат огородил тыном и пустил землю под огород. Там дотлевали краски конца лета. Куда ни глянешь — появились признаки увядания. Из овощей лишь полусгнившие помидоры на никлой потемневшей ботве. Я прошёлся по плотно сомкнувшимся огуречным грядкам, раздвигая руками цепкие пожелтевшие листья. Одни болезненно искривлённые, пузатые, светло-коричневые, никому не нужные огурцы висели на плетях. Я долго ходил, прежде чем нашёл мучительно изогнувшийся пупырчатый зелёный огурчик, сорвал его, обтёр ладонью и стал хрумкать. Но он оказался невкусным, почти без сока, горчил малость.

Я с тоской подумал о том, сколько лет подряд мне не удаётся разговеться первым огурчиком с грядки, помидором ли. Я с грустью оглядел новый братнин огород, тихий, слегка запущенный, неприглядный. Запах прелости, дух растительного глена витал в воздухе. И пчёлы, осы не гудели, уже не прилетали сюда — нечем поживиться, всё давно отцвело. Только какая-то серенькая бабочка сонно тыкалась то в одну сторону, то в другую, словно заблудшая, порхала с плети на плеть. Зато муравьи всю сновали по земле, что-то озабоченно волокли, суетились, вели хлопотливую работу — верно, чуяли, что лету приходит конец.

Один такой муравей и был последним толчком к тому, что я находился в родном селе. Я получил от матери посылку: орехи, яблоки, груши, гранаты, баночку кизилового варенья. Когда я выставил всё это на стол, из груды орехов выбрал золотисто-кофейный мураш и стал вяло ходить по белой скатерти. Дочка моя первой увидела его, радостно крикнула: «Гляди, пап, гляди, к нам в гости приехал от бабульки!» Это было настолько необычно, неожиданно и трогательно, что мы долго сидели вокруг стола, разглядывая крохотного, милого гостя.

Юрд* — родовое подворье, фамильный двор.

ПОЭЗИЯ

Марина Бирюкова

СТИХОТВОРЕНИЯ

Валенки, варежки, вёдра,
сени со штабелем дров,
стужею выгнуло твёрдо
белые флаги дворов.

Вдаль от колодца до леса —
зимний торжественный вид,
липнет седое железо,
цепь, ниспадая, гремит.

Странный при этакой стуже,
слышится голос воды...
Будет картошка на ужин
мне за дневные труды.

Будет... А что ещё будет?
Вовремя исцелена
я от мечтаний о чуде:
жизнь моя будет полна

чудными нечудесами,
тем, что до крайнего дня
сразу и перед глазами,
и под рукой у меня.

Сквозь бурную крону просеяло свет:
то пасмурно-сер, то серебряно-светел
большой одуванчик. Когда бы не ветер!
Порыв — и мерцавшего шарика нет:

сядутся на комья садовой земли
пушинки... О чём я? О чуде ничтожном,
свидетельстве кратком, неслышном, неложном,
из тех, что не раз уже мне помогли.

Снежок за крупу принимает сизарь:
прошло. Наступило. Пройдет. И настанет...
Но чем, человек, ты всю жизнь свою занят,
зачем ты не царствуешь, времени царь?

Восцарствуй, немедля: настанет зима
и скоро пройдёт, и наступит за нею...
Но я и весною владеть не сумею,
отдам, не противясь. И стану сама

подобна клюющему снег сизарю...
Не стану, а стала. Но, крупкою странной
отнюдь не обманута, благодарю
за первый снежок, оказавшийся манной.

Повезло журавлю — не добыча,
несъедобен. Свободен. Лети
над полями-дворами, курлыча,
оставляя людей на пути

изменёнными — жаль, обратимо! —
произнёсшими вслух «Журавли...»,
Беспрепятственно следуя мимо
поселений хозяев Земли,

затаенному их ожиданью
служит издавна службу свою.
Не обложена страшною данью,
серокрылая стая в строю

Благодарю Тебя за снег:
нагая, скованная стужей,
земля белела битой лужей,
и страшно было это мне.

И в том, кончавшемся году
Тебя просила что ни день я:
прикрой же эту наготу
теперь — до праздника Рожденья!

За вечный минус на счету
на нас Ты, верно, не во гневе:
одень земную нищету
одеждой, сотканною в небе!

...Прошу, уже благодаря —
за то, что ужас переборот,
а первый снег на грязный город
шестого сходит января.

При масляной луне со стеклами окна
работает мороз. Темно и тихо в доме.
В тепло проникший свет уже на пятом томе
и ниже — на втором: смещается луна.

Стучат в углу часы. И тайны каждый том
великие хранит, и серебрятся травы,
и как же хорошо мне ночью в доме — том,
где было больно всем, где были все неправы.

Я в доброй темноте нашариваю шаль
и повторяю стих возвышенной поэмы...
Ушедших и живых, мне всех нас очень жаль:
что в доме хорошо — не понимали все мы.

Путём вся земля идти не захотела,
и наугад пошла. И вышла, давши круг,
к началу своему. И нет мне больше дела
до старости моей, до смерти даже, друг,

поскольку здесь весна. Просохли огороды,
и сладко-горек дым костров по вечерам,
и голоса людей, и голоса природы,
и перекопка гряд, и выставленье рам —

всё это не пройдёт. И в этом я навеки...
Но путь у нас один, кратчайший — напрямик,
и если ты с него сошла, смыкая веки,
то лишь на миг один...
На бесконечный миг.

Нагие березы, холодная просинь,
подвижные капли на мягкой коре...
Мучительно трудная выпала осень!
Уехав на дачу, в лесу на горе

искала короткого отдыха, или
покоя, но вряд ли доступен покой.
Иного искать? Но его не таили:
решиться бы только на выбор такой —

довериться Богу... Холодные капли
подобны слезам, что уже ни к чему
тому, кто решился. Решилась, не так ли?
Не так — или просто сама не пойму.

Однажды увидела я воробья —
в полыни сухой, на коричневом камне,
и странно мне стало, и было тогда мне
дано ощущение... Чего? Бытия,

в котором теперь вот сидит воробей
на камне, а я это вижу... Тогда же
оно и пропало, и близкого даже
уж не было более в жизни моей.

Запахло в доме дымом и дровами,
забормотали дождики — о том,
о чём сказать могла бы я словами,
когда бы я превозмогла трудом

неуловимость, неопределимость
того, за что люблю я белый свет...
Теплом под вечер солнце поделилось —
и ничего, что сил уж больше нет

на поиск слов — без них намного проще
соединиться с тем, за что люблю —
в колючем поле, в голой белой роще,
у печки в доме... Что употреблю,

чтоб до конца мне с ним соединиться?
Неужто вновь хочу искать слова?
Поленницу исследует синица,
белеет хрупким инеем трава.

Я стою в полутьме придела,
за окном шелестит снежок,
раньше, нежели я хотела,
мальчик свечку мою зажег.

Мне ль мой собственный путь неведом,
я ль не знаю, чего хочу?
Но дитя за своею следом
зажигает мою свечу.

Это знак: не решай за Бога,
Богу ведомы одному
ты сама и твоя дорога...
Понимаю — но как приму?

Здравствуй, ветер. Мы знакомы,
и давным-давным-давно.
Ты ведь вечен, ветер! Кто мы
для тебя? Не знаю, но
с первой встречи нашей — помнишь? —
дружбу чувствую твою.
Каждый раз тебя я — в том лишь
неизменна — узнаю.

Ты звенишь сухой травой,
гонишь дым, колеблешь вяз...
Заставай меня живою
сколько можно будет раз.

Протащи листву по ставню,
шторы легкие развей...
Скоро я тебя оставлю,
ветер, вечности твоей.

Поскольку несла за потерей потерю,
всё время себе укрепленья искала,
и это нашла. И теперь уже верю,
что в северной речке бельё полоскала.

Собор пятиглавый река отражала,
кормились рябиною серые птахи,
а я в купола и кресты погружала
свои полотенца, штаны и рубахи.

Вдыхала, собор на куски разбивая,
нездешнюю свежесть и едкое мыло...
О том, чего не было, память живая,
слабей ли того, что, к несчастью, было?

... Рубаха из рук моих тихо влекома,
песком золотятся речные глубины,
а чёрные брёвнышки отчего дома,
а эти рябины, рябины, рябины...

ПРОЗА

*Мы как-то бездумно затвердили расхожее при-
словье: о покойниках, мол, либо хорошо, либо вовсе
ничего. Обычно я с этим утверждением не согла-
шаюсь, когда речь заходит о пишущих людях,
ушедших от нас в мир иной. Потому как убеждён,
что писатель иногда и рождается-то только по-
сле физической кончины. Правда, с Николаем
Васильевичем Болкуновым у меня сложилось не-
сколько иначе: я и при его жизни знал, что он про-
заик с зорким глазом и чутким сердцем. Ну а после
его скоропостижной, ошеломившей многих, горест-
ной кончины окончательно убедился, что повесть
Николая Васильевича «Прости мя, Господи» и
ряд его рассказов остаются живыми и трепетны-
ми произведениями исповедальной прозы.*

Я. Удин

Николай Болкунов

ПОД ДУБОМ

Лето плавилось самозабвенно, настойчиво, будто
торопилось скорее спалить себя дотла, — в начале
августа дуб уже нет-нет да и швырял пригоршнями
себе под ноги глянцево-коричневые жёлуди. Именно
под ноги, потому что там, где верхние корни, горбами

выпиравшие из-под земли, скипались в крепкий, вытянутый узел, дуб расходился двумя мощными стволами. Матёрая, ребристая кора намертво скреплявшей их седловины почему-то напоминала крокодиловую кожу, из которой шьют обувь. Дуб надёжно стоял, задумчиво вознося высоко в небо свою кудлатую голову.

Он первым чувствовал дуновение ветра, когда на небо забредала случайная тучка. Его листья, словно детские ладошки в зелёных перчатках с растопыренными пальцами, трепетали вверху, у самой макушки, и оживлённо шумели. Это были самые доверчивые листья — они росли на молодых, в нежно-зелёной кожице, побегах. Те же, которые держались на потемневших, уже переживших ненастную осень и лютую зиму ветвях, не спешили радоваться — вели себя с достоинством, без суеты, лишь иногда скупко переговариваясь друг с другом. Тучка, не пролившись дождём, убегала дальше. А задумчивый дуб всматривался с высоты в знойно-белёные дали.

Я постоянно наблюдал за ним: и когда управлялся с дачными делами, и когда топил баню, и когда нехотя остывающим вечером просто сидел на крылечке, прощаясь с ещё одним прожитым днём. Но чаще всего мы общались с ним в ранние часы дремотного, тихого утра. Проснувшись с зарёй, я брал рукопись и, чтобы не мешать Насте ещё немного понежиться в постели, выходил во двор. Огненно-раскалённое солнце выкатывало из-за горы, и дуб встречал меня, по пояс облитый розовым светом. В его густой кроне хоронились птицы — всё больше пернатая мелочь:

воробьи, синицы, щеглы. Они трезвонили, щебетали и насвистывали, а я устраивался в беседке.

Я соорудил её за кирпичной баней, с западной стороны, — так, что часов до одиннадцати мог спокойно работать, защищённый от докучливого солнца. Беседка была просторной: середину её занимал массивный, из струганной сосновой плахи стол, который с трёх сторон окружали прочно покоившиеся на обрезах труб удобные скамейки, над головой плёлся виноград, опустив меж широких листьев крупные наливающиеся гроздья. Я располагался в глубине беседки, за торцовым краем стола, — клал перед собой стопку чистой бумаги и закуривал.

Прямо передо мной, за открытым входом беседки, кудряво раскидывала ветки, отяжелевшие от крупных бордовых плодов, мельба. Яблоки мягко, с поцелуйно-чмокающим звуком шлёпались на рыхлую землю, и каждый раз я недоумённо и рассеянно отрывал глаза от рукописи. Блуждающий взгляд останавливался на чешуйчатом тёрне, который хорошо просматривался сквозь негустую сеть виноградных листьев. За терновником, чуть дальше, в полнеба вздымался дуб.

Он стоял на краю участка, у проволочного забора, как надёжный страж. У его ног начиналась делянка, засаженная картошкой, и тень от дуба, целый день блуждавшая по картофельной ботве, заслоняла её от ожогов.

Его громада не давила на меня — напротив, я постоянно чувствовал себя как бы под незримой защитой этого великана. От него веяло покоем, незанос-

чивой мудростью, терпеливой, без самолюбования, доброй силой. Я оставлял на столе рукопись и подходил к нему. Клал ладони на его шершавую, в ложбинках и рытвинах, кору, радуясь тесноте, слитности нашего тёплого рукопожатия, и долго стоял возле.

После молчаливого общения с ним рукопись подвигалась живее — мысли и эмоции приобретали отчётливость, рельефность. Я торопливо писал, не опасаясь пропустить неточное, ложное слово, и ничто не отвлекало меня...

Часов в восемь, а то и в девять из-за поникших зарослей малины на мощёной кирпичом дорожке показывалась Настя. Заспанно щурилась от яркого солнца, она говорила тихо, неуверенно, будто спрашивая:

— Доброе утро...

— Доброе утро, Настя.

— Разоспалась что-то... Всю ночь ворочалась, сердце ныло. Духота. А под утро уснула, — оправдывалась она и вздыхала: — Сегодня опять будет пйкло...

— Да, Настя, осы с утра разморённые. Поймай в кулак — не укусят. И летают, словно вымокшие под дождём.

— Хорошо бы... вымокшие, — говорила Настя.

Она ещё немного стояла у беседки, щурилась, оглядывая всё вокруг, и исчезала за малинником — боялась своим присутствием помешать мне. И провожая её взглядом, я мельком думал о том, что имя Настя как нельзя лучше подходило к ней. В нём счастливо сочетались и её утончённость, интеллигент-

ность, и крестьянская основательность, хлопотливость, заботливость.

Вообще, в этот отпуск мы говорили с ней до обидного мало. Я готовил к изданию сборник рассказов: старых было явно недостаточно и я торопился дополнить их новыми. Главное заключалось, конечно же, не в размерах книги — хотелось выкрикнуть всю сердечную маету, которая поднакопилась в последние годы, избавиться от гнетущей тяжести и, может быть, обрести успокоение.

По моему разумению, писателю вовсе не обязательно мыслить возвышенными категориями — к примеру, о многострадальной судьбе своего народа, Родины. Мне кажется, его должна занимать, прежде всего, собственная, саднящая сердце болячка. И если она имеет отношение к общему недугу, значит, труд писателя что-нибудь стоит... Не стану судить, способна ли была вызвать чьё-либо сочувствие моя болячка, но изживал я её добросовестно, путая дни и ночи, не замечая никого. Я спешил закончить работу над книгой за отпуск.

Когда Настя возвращалась из города, куда иногда ездила за продуктами, и я, на минуту оторвавшись от рукописи, из приличия спрашивал её о новостях, она сообщала коротко, односложно: «В городе очень жарко» или «Батон нарезной подорожал».

— Да-да, Настя, — отвечал я, думая о своём...

Мне нравилось произносить её имя — Настя. Оно вмещало в себя столько всевозможных оттенков и настроений, что, казалось, можно было обходиться лишь этим словом. Оно звучало и сухо, строго —

Настя, почти Анастасия, — и ласково — Настя, Настёна, — и совсем, до придыхания, любовно — Настя, Настенька моя... Я заметил, что в последнее время стал гораздо чаще называть её по имени — так, должно быть, я старался скрасить перед ней свою занятость и молчаливость.

Когда я заканчивал очередной рассказ, у нас случался короткий досуг. В этот день я читал ей написанное и по тому, как она, внимательно слушая, радовалась и печалилась, а порою и плакала, понимал: ещё одной ссадиной у меня остаётся меньше... Я помогал ей по хозяйству, удивляясь, как быстро копится мужская работа, — колол дрова, вскапывал грядки, с которых она успела убрать урожай лука, ручным культиватором рыхлил почву в междурядьях клубники, удобрял землю перегноем.

Я вспомнил про трёхствольный сухой пенёк, выкорчеванный мною ещё в прошлом году, — он лежал за изгородью, где росли корявые клёны. Вместе с Настей мы двуручной пилой срезали стержневой корень и боковые отростки. Дотемна я возился с ним, очищая от коры, срубая долотом наросты, разглаживая рашпилем едва заметные шероховатости и неровности. Вышло дивное кресло, которое я поставил у подножия дуба.

Со следующего дня, затеяв очередной рассказ, я уже начинал работу не иначе, как посидев прежде на этом кресле. Спinoй и затылком я прислонялся к одному стволу, к другому — прикасался ладонью... Толстую кору стволов — у основания гуще и, чем выше, тем всё реже и мельче — украшали, словно

переводные картинки, пепельно-лиловые бутончики мха. Они были так плотно и прочно приклеены, что отодрать их не представлялось никакой возможности, — может быть, дуб считал их своими татуировками. Причудливая вязь коры удивительно соединяла в себе надёжность кованой кольчуги и ранимую беззащитность обнажённой кожи. Не сразу я заметил, как по-разному окрашена кора: с северо-западной стороны ствола она была купоросно-зеленоватого, тёмного цвета, с юго-восточной же — серо-землистого, с тусклой проседью. Одинаково алыми по всей окружности оставались лишь тонкие извилистые прожилки, струйками обтекающие горбушки коры, — морщины немало повидавшего на своём веку дерева.

Я долго сидел под дубом, наблюдая шустрый бег рыжих муравьёв — ловко и скоро по впадинам и возвышенностям они взбирались вверх. Мне сложно было понять, какая крайняя нужда гнала их туда. Возможно, они, как и я, впитывали в себя, набирали силу на весь предстоящий, многотрудный день.

Я писал о сегодняшнем. Но у героя нового рассказа за спиной дыбилося прошлое, требовательно напоминало о себе, просилось на страницы. Первые потрясения, пережитые им...

Герою было десять, когда его лишили маленького, родного мальчишеского мира — той улицы, где в палисаднике, под окошком крепкого крестьянского дома цвела жёлтая акация, где — одного цвета с акацией — жёлтый песок под босыми ногами был невыносимо и желанно горяч. Улицу затопила волжская

вода, а переселенцев утешили тем, что электрический свет строящейся гидростанции скоро придёт на смену керосиновым лампам. И мальчик впервые считал свои потери...

Ему было двенадцать, когда у него украли привычный, огромный мир — в начале шестидесятых некогда святые имена были посрамлены, его оставили без веры, со щемящей обидой внутри. Тогда это воспринималось трагедией. Знал бы он, доверчивый мальчик, сколько предстоит ему в жизни подобных разочарований.

Ему было пятнадцать, когда у него отобрали, как представлялось, последнее — изнасиловали Томку, его первую, неожиданно проснувшуюся, изнурительную любовь... Она казалась намного взрослее, хотя они были одноклассниками, и не замечала его. Томка, конечно, догадывалась о его чувствах — он не умел скрывать их, когда украдкой смотрел на неё на уроках и переменах. Но ей было интересно с другими, постарше... Известие обрушилось на него глиняной глыбой — будто он прятался от дождя под крутым волжским берегом, круча обвалилась и придавила его.

Вместе со своим героем я переживал минувшее и замечал, как истончалась до пергаментной белизны кожа на подушечках пальцев — видимо, обнажались нервные окончания. Особенно было больно по утрам, когда умывался, — кончики пальцев нестерпимо кололо, словно в них сидело множество заноз с высунутыми наружу краями.

— Тебе надо отдохнуть. Так нельзя... — говорила встревоженно Настя, разглядывая мои руки и не находя ничего.

— Хорошо-хорошо, Настя, — соглашался я и с удвоенным напряжением работал.

Вот-вот, мнилось мне, я выплесну на бумагу всё без остатка — всё, что торчало занозами во мне. Дуб не может говорить человеческим голосом, — иногда думалось мне, — этой способностью владею я, но он даёт мне свою силу, чтобы высказать всю скорбь за нас, двоих... Так казалось, когда я, измотанный, опустошённый, дописывал последний абзац... Наши редкие праздники с Настей — с прерывающимся молчанием, с радостным смехом, с ночлегом в одной постели — были недолгими. К утру я уже чувствовал, как на душе копится, стекается по капле боль. Так, должно быть, вычерпанный досуха колодезь набирает из подземных пластов прохладную, свежую воду.

Я испытывал прежнее, подступающее к горлу беспокойство. И всё начиналось сначала.

В последние дни лето хмурилось чаще — тучи напозали на небо, безучастно глядели на выжженную зноем землю. Налетал ветер, свирепо рвал пожухлую картофельную ботву, закручивался в спирали, переворачивая вниз вершинами пыльные конусы. И тогда дуб не выдерживал, скрипел пересохшим, надтреснутым голосом и в сердцах швырял наземь пригоршню созревших желудей.

Иногда на его вершину садилась ворона. Она некоторое время неприятно кряхтела и, устроившись, принималась надсадно и мерзко каркать. Неизвестно

почему, но она не засиживалась — недовольно заорав на прощанье, торопилась убраться. Дуб был гостеприимен не со всеми.

Ворона улетала, но во мне оставалось какое-то недоброе чувство, близкое к страху. Мне почему-то думалось, что над нами, надо мной и дубом, нависает пока ещё трудно узнаваемая, но реальная угроза. И ворона являлась глашатаем этой угрозы.

Чувство опасности обострялось к ночи, с наступлением темноты... В полдень я оставлял беседку, сквозь ветхую виноградную крышу которой пробивалось солнце, слепило глаза и отвлекало от работы. Я переносил рукопись в дом и уже отсюда, через окно, кружевно занавешенное виноградом, наблюдал за дубом.

Когда ползучий сумрак поглощал его косматый тёмный абрис, и он был уже неразличим на фоне неба, я слышал за окном посторонние звуки. Вдали кто-то тревожно вскрикивал — не то человек, не то зверь или ночная птица. Под окном, в зарослях виноградной лозы, привычно и жутковато шуршало. Потом явственно звучали хлопки, словно огромная сова, запутавшись, била по листьям крыльями, и кто-то жалобно ронял прощально-короткое: пи-пи... Хорёк ли жил под домом, другая ли хищная тварь, но каждое утро я находил под окном, в винограднике, мелкие пёрышки... Я неуютно ёжился от этого безысходного писка — «пи-пи», и меня всего — до пяток — игольно пронизывала мысль о бренности существования всего живого. И в эти минуты мне мучительно

хотелось быстрее дожидаться утра, чтобы прислониться ладонями к дубу.

Почти месяц мы с Настей не держали в руках газет — бывая в городе, она вынимала их из почтового ящика и складывала дома, до лучших времён, — и не включали телевизор. Мы стремились отрешиться от всего суетного. Но что-то постоянно мешало... Сосед по даче, увидев через забор, как я, пытаюсь остаться незамеченным, пригнувшись бежал по мощёной дорожке из беседки в дом, окликнул меня и в полторы минуты выложил как на духу: по причине засухи и головоотяпства нынешних чиновников в области собрано зерна — одна треть от потребности и нужно ждать в зиму хлебной бескормицы... В тесную прихожую я не вбежал — я впрыгнул в неё, как в узкий лаз неприступного, в три наката блиндажа. Первая фраза, которую я с перепугу вкатил на страницу, оказалась безнадёжно ностальгической и никуда не годной: «Это было время, когда на металлических изделиях под заводским прессом выдавливали их цену».

Почему-то наступающая беда, сдавалось мне, угрожала оттуда, откуда всё чаще тянулись чередой тяжёлые тучи, — из города. Должно быть, от усталости и нервного перенапряжения, от неизбежной боли и ощущения опасности в моём сознании сместилось всё. Я хотел сосредоточиться на мыслях о бессмертии, но думалось мне о непрочности жизни. Я мечтал вместе с дубом о спасительном дожде и одновременно пугался надвигающихся со стороны города туч. Я пытался вычерпать себя до конца и этим только прочищал живительные протоки, которые наполняли

меня всклень... Наверное, Настя была права: я всё больше и больше уставал и нуждался в отдыхе.

Работа моя окончательно зашла в тупик: я часами бессмысленно смотрел на чистую страницу, не продвигаясь ни на запятую... Я ждал дождя.

Проведя бессонную ночь у настольной лампы, ослепнувшей от рассвета, я вышел во двор. В этот раз у меня не было с собой рукописи... Дуб встретил меня, как всегда, приветливо и молчаливо. Сегодня он не рдел на солнце — оно, видимо, уже взошло, но обложные тучи затянули всё небо. Сегодня дуб смотрелся по-особому, как-то обновлённо и непривычно. Я заметил, как ярко и сочно проступили на нём все его краски. Таким в это лето мне никогда не доводилось видеть его.

Я удобно примостился на витом из отростков корневища кресле, мягко прислонил к одному из стволов спину и голову и благодарно огладил руками нежную шероховатость коры. Неизвестно почему, но в этот час птицы не пели — от дуба растекалась, струилась в неподвижном воздухе тишина.

Мне приснился радостный, счастливый сон — с удивительными запахами, звуками и красками, формами и вкусом, с бестелесно-невесомым полётом и желанным растворением во всём... Я не мог, как ни силился, вспомнить ни одной детали этого сна, когда меня разбудила своими шагами Настя. Лишь кончиками пальцев и языка, краешками глаз, ноздрей и ушей я уловил ощущение промелькнувшего и растаявшего, как дым, чуда.

— Я догадался, Настя, догадался! Доброта — вот мера всех вещей... Понимаешь, Настя? Доброта — это и путь, и истина, и жизнь...

— Что это? — спросила она, ладонью касаясь моей щеки. — Слезинка... Ты плакал?

Я запрокинул голову вверх, упоённо потираясь затылком о тёплую кору, и произнёс с блаженной, придурковатой улыбкой:

— Смотри, Настя... дождь...

Виктор Бирюлин

НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ

В сухой и тёплый день

Ходишь вокруг виноградных кустов, уже тронутых желтизной, пробуешь в задумчивости ягоды. Кажется, уже достаточно сладкие. Пора! Завтра за дело! Но завтра с утра всходит ещё жаркое солнышко. Решаешь немного подождать. Пусть ягоды сахара наберут побольше, вино будет крепче. А к вечеру вдруг прогнозы переменялись, предвещают дожди. Да и ночами уже холодно по-осеннему. Ладно, завтра начну.

И так промучаешься в нерешительности неделю-другую.

Но вот решение принято. День сухой, тёплый. Берёшь секатор и начинаешь аккуратно срезать успевшие прогреться чёрные плотные гроздья. Одну за другой, не спеша, мурлыча себе под нос какую-нибудь незатейливую песенку. Испытываешь редкое состояние душевного спокойствия.

Собранный виноград с такой же тщательностью перебираешь, давишь и отправляешь в бродильные баки. Какое-то время напряжённо ждешь, когда же придёт в движение вся эта разнородная масса. Наконец, в очередной заход в винодельню видишь, что сусло уже забродило, закипело, с ходу набирая силу. И на душе становится легче.

Несколько раз днём, в полночь и ранним утром заходишь мешать мезгу, погружая её большой деревянной ложкой в неукротимо бурлящую материю. Недели через две шапка начинает потихоньку опадать. Молодая винная вселенная, охлаждаясь и замедляя движение, переходит в более устойчивое состояние. Вскоре брожение останавливается. И несколько десятков литров домашнего красного сухого вина оказываются в погребе. Пусть спокойно дозревает, сколько отпущено судьбой.

А пока полкружки вина нового урожая! Конечно, оно ещё грубовато на вкус. Но в молодости все немного грубоваты. Поэтому в выдержке нуждаются и вино, и люди.

Дальше пойдёт сливание с осадка — в середине ноября, в марте, в начале лета... Каждый раз снимаешь пробу. И каждый раз замечаешь, как твоё вино неудержимо взрослеет, увя, старея. Цвет становится

гранатовым, винные ножки маслянистее, запах тонким, неопределённым в своём разнообразии, а вкус в меру терпким.

Доброе вино дарит человеку ощущение безмятежного блаженства. В такие минуты с особенной силой веришь, что красота и в самом деле спасёт мир. Жизнь устоялась, и пусть будет нам в радость.

Кочевники поневоле

В недостроенной и заброшенной даче недалеко от автобусной остановки поселилась семья таджиков. Парень, подросток, девушка в шароварах. Это кого я увидел. Вежливо поздоровались со мной. Парень с подростком выгоняли через дорогу в поле стадо коз на выпас. И немалое стадо, в несколько десятков голов. В дачном дворе уже и загон соорудили из палок и досок.

Представил себя в их положении — среди чужих людей, в постоянной заботе о пропитании и пристанище. Вряд ли был бы счастлив. А они спокойны, доброжелательны. Девушка, закрыв ворота, безмятежной походкой возвращалась в дачу. Может, лепёшки испечёт к завтраку. Парень с подростком направили стадо в ложбинку со свежей травой. Их неторопливые движения, искринки в глазах говорили о том, что они довольны своим положением. Наконец они устроились как дома. Пусть и ненадолго. Сегодня — их день. Даст бог, и завтра день будет их...

Вскоре таджики со своими козами и в самом деле уехали. И загон разобрали, увезли. Заброшенная дача по-прежнему зияет прорехами на втором этаже. Двор опять пуст и никому не нужен.

Невидимое облако

Выставка местных художников, участников знаменитого Хвальинского пленэра, вот-вот откроется. Появляются первые посетители. Они заходят не спеша, небольшими группами и в одиночку. Тут и там начинают вспыхивать разговоры, где-то и слишком громкие. Это никому не мешает. Взгляды обращены к увешанным картинами высоким стенам.

На картинах изображены деревья, цветы, солнечные поляны, меловые холмы, старые дома и живописные фигурки людей. Летние впечатления от увиденного в окрестностях старинного волжского городка, давно облюбованного художниками. Картины полны света, легки, изменчивы, как сама жизнь.

Молодая художница стоит возле своих работ. Волнуясь и переживая, она перехватывает взгляды в их сторону. Напротив неё, энергично жестикулируя и не обращая внимания на почтительно обходящую их публику, увлечённо беседуют два уже опытных мастера. В центре внимания на время оказывается молодой художник с большой, воздушной, лёгкой на вид бородой, очевидно, один из организаторов пленэра. В окружении молодёжи он терпеливо наговаривает что-то в диктофон корреспондента.

Мерный шум голосов продолжает нарастать. Продолжается и неспешное кружение людей вдоль стен. Развешанные на них рядами картины выглядят окнами в ушедшее лето с его светлыми мечтами. Окна разные, маленькие и большие, и свет сквозь них струится разных оттенков и силы. Изливаясь со всех сторон, он сгущается в невидимое облако, вслед за людским вращением заполняющее всё пространство. Люди проходят через струящиеся волны света, и в их снах наяву зарождаются зелёные островки надежды.

Чаще защёлкали затворами фотоаппараты, засуетились, выбирая лучшую позицию для съёмки, телеоператоры с треногами и массивными камерами. Просторное помещение незаметно наполнилось, вокруг задвигали стульями, рассаживаясь. Через считанные минуты начнётся официальная часть выставки с выступлениями, воспоминаниями и награждениями.

Но неофициальная ещё продолжает свой свободный ход. Разговоры не утихают, появляются новые посетители, смотрят на светоносные стены и входят в невидимое облако.

Смерть Пегаса

В далёкие советские времена моего отца, офицера-пограничника, перевели служить на заставу, стоящую на украинском берегу Буга. Застава была обособленным миром. Но он общался, например, с миром колхозным. Колхозникам разрешали косить густую высокую траву в заливных лугах нейтральной

зоны. Взамен они снабжали пограничников мясом, салом.

Однажды на заставу привели списанную колхозную лошадь по кличке Пегас. Он был весь в рыжих и коричневых пятнах. И был очень худ. Одни кости да кожа. Мне объяснили, что его откормят и пустят служебным овчаркам на мясо.

Несколько раз в день я выпрашивал у матери и приносил в летнюю конюшню хлеб и сахар. Пегас аккуратно брал их с моей ладони нежными трепетными губами, встряхивал головой, с одобрением, как мне казалось, поглядывал на меня. Поначалу я с опаской посматривал на его огромные жёлтые зубы. Но вскоре привык. К строевым коням подходить запрещалось. А возле него можно было постоять, дотянуться и погладить ладонью его бархатную щёку. Он был обычной рабочей конягой, тихой и нетребовательной, привыкшей к ежедневному хомуту. Но постепенно взгляд его веселел, бока округлялись. Во время учений на границу отправилась большая группа солдат. Лошадей не хватило, и оседлали Пегаса. Возвращаясь, устроили соревнование — кто быстрее доскачет до ворот. Отъевшийся Пегас обогнал пограничных лошадей. Я радовался за него, во мне зародилась надежда, что, может, его оставят, и он будет служить как все.

Выйдя как-то утром на хозяйственный двор, я увидел солдата с понуро стоявшим возле него Пегасом. Одной рукой солдат придерживал его за поводья, в другой держал пистолет. Потом приставил дуло к замершему лошадиному уху. Пегас не дёрнулся,

не вскинул голову. Он всё также понуро стоял, поджав ногу. Прозвучал негромкий хлопок. Когда я подошёл, Пегас уже лежал на боку, подмяв под себя редкую сухую осеннюю траву и вытянув голову с застывшими равнодушными глазами. Во двор заходили ещё солдаты, чтобы разделать тушу.

Над сосновым лесом за полем всходило, как всегда, солнце. За забором, возле жилого корпуса заставы слышались командные голоса. Всё вокруг было обыденно, спокойно. Только вороны кричали громче обычного, видимо, возбуждённые скорой поживой.

На заставе все хозяйственные дела совершались открыто. В свои шесть лет я уже видел, как отрубали топором головы успокоившимся курам, вбивали штык-нож в горло визжавшей свинье. Поэтому не заплакал при виде поверженного Пегаса. Развернулся и побрёл домой. Но меня смущали новые, горькие чувства. Ведь куры и прочая живность для солдатской кухни были мне чужими, как пойманная в Буге снулая рыба или дерущиеся из-за хлебных крошек воробьи. Я не относился к ним по-товарищески. А о Пегасе заботился и всем сердцем желал ему лучшей доли. В его убийстве была жизненная необходимость, оправданность. Я понимал это, несмотря на свои малые годы. Но была в его смерти и явная для меня несправедливость, нечестность по отношению к простому коню, который стал скакать быстрее строевых.

Мне было жалко Пегаса. Мне его и сейчас жалко. Руку солдата, приставленную к уху обреченно стоявшего коня, и хлопок пистолетный помню, как будто это случилось вчера.

Когда ангелы кусаются

Вчера весь день по нашим комнатам бегал внук, маленький человек, стремящийся быть независимым, но зависимый пока от всех и вся. Родная кровь. Личность яркая и такая ещё уязвимая. Даже играя, порой уточняет: «Но ты волк понарошку, ты меня не съешь?»

Он давно собирался у нас заночевать. И всё не решался. Невестка до последнего не верила, что всё обойдётся, мол, ночью проснётся и домой запросится. Но нет. На все уговоры ответил: «Мам, надевай куртку и поезжай домой!» И был доволен, что не забоялся. Малышам ведь тоже хочется разнообразия в общении. Ну, хотя бы у бабушки с дедушкой перед новым годом погостить.

Вечером, чтобы быстрее заполучить шоколадный десерт, согласился есть его с гречневой кашей. И ел, хотя налегал, конечно, на сладкое. Укладываясь спать, в ожидании своего какао, заметил на столе нежелательную в это время коробку с соком и попросил его.

— Да там вода!

— Тогда я воду попью.

Утром на прогулке Тима набрал веток «для костра» и потащил домой. Но не стал возражать, когда я пристроил их под кустом.

Внук, как и положено настоящему мужчине, предпочитает подвижные игры, где он на главных ролях. На этот раз долго играли в домик из маленькой складной палатки. Для пущей убедительности

Тима затащил в неё настольную лампу, мыло, булку и грушу. Он был зайкой. Я — ёжиком, потом, правда, стал волком. Наверное, внук решил, что зайцу с волком безопаснее. Ведь бабушка была лисой. Она снаружи всё пыталась выкрасть у нас игрушки. Но мы вовремя спохватывались и возвращали их. Между делом внук спел нам песню о казаке и его коне, который гулял на воле. Ещё мы водили хоровод вокруг наряженной ёлки и не меньше трёх раз снимали, рассматривая и восхищаясь, и вешали обратно ёлочные игрушки.

Когда Тима слушает, он неотрывно смотрит на тебя. Выслушает пару раз понравившуюся сказку и уже сам рассказывает.

Вот он вытащил из ящика моего письменного стола степлеры, стал их открывать, вставлять в них скобки. На мои увещевания, что, мол, он ещё мал в таких вещах разбираться, спокойно возразил: «Ну, я же стараюсь».

Вспомнилось, как на днях сын повёз Тиму кататься на снегокате на Кумысную поляну, пообещав привезти его в волшебный лес. Приехали, а Тима не рад.

— Ты чего такой хмурый?

— Так ты меня обманул.

— Почему?

— Какой же это волшебный лес, если в нём столько людей?

Пришлось сыну искать поляну побезлюднее.

К концу дня внук расшалился и укусил бабушку за руку. Я его слегка шлёпнул. Он обернулся со сле-

зами на глазах и спросил: «Ты что делаешь?» В самом деле, что я делаю и по какому праву? Внук ведь и бабушку-то укусил, потому что любит её больше, доверяет ей. Вот и сейчас она его пожалела, и игры продолжились.

В завершение занялись дыроколом, делая «конфетти». Целую коробку, чтобы хватило на всех. Уезжая, Тима осыпал ими комнаты, напевая что-то о новогоднем счастье.

Лепёшка по древнему рецепту

Где-то вычитал, что в древние времена пастухи ставили плоский камень на два других, служивших ему опорами, и под ним разводили костёр. Когда плоский камень становился тёплым, его смазывали маслом, а когда раскалялся — на нём пекли лепёшки. Пастухи бережно укладывали их в свои выдавшие виды сумы и отправлялись со стадом в дальнюю дорогу.

Казалось бы, ничего особенного в пресных лепёшках. Только завораживает уже замешивание теста. Неведомый тебе хлебопёк тысячи лет назад, как и ты, расчётливо насыпал в подходящую посудину или прямо на стол, любую ровную чистую поверхность меру муки, бросал щепотку соли, наливал из кувшина тёплой воды и заботливо мешал руками эту чудесную смесь.

Невольно вспоминаешь, как ловко вымешивает тесто мама, затевая свои тающие во рту пироги, и

напрасно стараешься повторить её движения, у тебя всё равно выходит угловато, по-мужски. Но вот тесто готово. Какое-то время оно ещё держит тепло твоих рук. Сбиваешь его в колоб и накрываешь полотенцем, чтобы оно успокоилось, отдохнуло перед превращением в хлеб наш насущный. Успокаивающий вид готового теста, жар согревающего и озаряющего огня во все времена поддерживали чувство уверенности в сегодняшнем, значит, и в завтрашнем дне.

Пусть твои тонко раскатанные лепёшки, похожие на армянские лавашы, пекутся не на раскалённом камне, а на сковороде, на газовом аккуратном пламени. Всё равно каждая испечённая лепёшка с простым, казалось бы, вкусом, солнечным образом своим в один миг соединяет тебя со всем человеческим родом.

До первых пресных лепёшек судьба людей была ещё, может быть, под вопросом. С колесом лепёшки она устойчиво покатилась в будущее, добравшись и до наших, далеко ещё не последних дней.

Ах, крокусы...

В конце зимы, прихватывающей, как правило, и март, невольно затоскуешь от нескончаемых морозов и снегопадов. И тогда начинаешь всё чаще вспоминать о крокусах. Ждёшь встречи с ними.

И вот апрель. Утром покрывало. Но потихоньку тучи разошлись. Голоса птиц оживляют ещё пустынные садовые окрестности. Глазами быстро ощупываешь знакомое место. И вот они, крокусы,

выглядывают из чёрной влажной земли. Не подвели. Их ещё зелёные остренькие макушки осторожно осматриваются. Недалеко от них красуются пышными плотными листьями тюльпаны. И настойчивые нарциссы высыпают кружком. Но первыми зацветут маленькие нежные крокусы.

Несмотря на свою малость, крокусы цветут ярко, открыто утверждая своё явление в мир. Это тоже трогает. Жаль, что долгожданное садовое чудо так быстро отцветает. Только что жёлтые и фиолетовые слегка озорные верхушки прямо из земли взмывали к солнцу. И вот они уже завяли, оставив вытянутые со светлой продольной полоской листочки, которые быстро затеряются в общей зелёной массе. В саду продолжает разворачиваться привычный порядок жизни. На смену неустойчивой весне спешит жаркое лето с другими прекрасными цветами.

Но взгляд ещё не раз скользнёт по заветному уголку земли. И приткую тяпку всякий раз останавливаешь, чтобы не поранить в земле драгоценные луковички. Через год они опять порадуют душу.

Пусть звучит дудук

Когда хочется немного отдохнуть душой, включаю нежную мелодию дудука. И с первых звуков доверчиво погружаюсь в её грустный переливчатый поток. Отчего же так завораживают сердце живительные звуки старинной армянской трубки, которую и в руках-то не довелось держать?

Под мягкое звучание дудука вспоминаю о коротких встречах, случайных разговорах с армянами. В жизни таких встреч и разговоров было немало.

Ещё в солдатские годы узнал от сослуживцев-армян, что на их родине в народные праздники всей семьёй идут вначале на могилы русских воинов, спасших армян от турецкой резни в начале 20 века, и только потом идут к другим святыням.

А со студенческой газетной практики в далёкой степной Питерке запомнил добродушные сетования армянских строителей на то, что они всю жизнь работают на свадьбу и похороны — свадьба должна быть царской, а на могиле должен быть выстроен хотя бы скромный мавзолей.

Недалеко от моего дома среди разноцветных торговых ларьков стоит и будка сапожника. За открытым окошком — знакомое лицо ещё молодого, лет за тридцать, но уже грузноватого армянина, с утра до вечера колдующего над обувными колодками. Раз другой в год сдаю ему в починку обувь. Работает он неторопливо. Но уж сделает на совесть. Однажды разговорился с ним об армянском хачкаре — вертикальном камне с высеченным на нём узорчатым изображением креста. Такой крест-камень красуется в одном из сквериков недалеко от саратовской набережной. После этого здороваемся, встречаясь и на улице.

На моей кухонной полке стоят два небольших кубка, искусно выточенных армянским мастером из оникса. Иногда наливаю в них коньяк, по возможности армянский, лучше которого для меня по-прежнему разве что французский.

И всё-таки не нахожу ответа, отчего так спокойно моей душе при негромких звуках этого незатейливого музыкального инструмента. Да и нужен ли ответ?

Пусть задерживает взгляды прохожих красавец-хачкар, приветливо открывается с утра окошко в мастерской знакомого сапожника-армянина. И пусть звучит печальный дудук, когда просит душа.

Лето прошло

Нежарко, тихо, сквозь обволакивающие небо серые облака то и дело проглядывает солнце. Один из последних погожих деньков перед осенним ненастьем.

За лето земля в саду покрылась незаметной паутиной муравьиных тропок. Она вся испещрена следами птичьих лапок. Не найти, наверное, местечка, где бы не проползла ящерка или не протопал какой-нибудь жучок.

Пахнет дымом от костра. Пахнет увядающей листвой, травой, корой деревьев и землёй, влажной от утренней росы. Осенние запахи сада кружат голову, заставляя сердце биться сильнее.

На даче всё моется, убирается, постельное бельё готовится в домашнюю стирку. С улицы заносится вычищенный «мойдодыр». На всякий случай в комнатах рассыпается отравка для мышей. Затаскиваются в сарай качели и лавки со столом из беседки. В саду собираются последние яблоки. Добеливаются штамбы. Рвётся оставшийся укроп.

Ещё цветёт в полную силу бордовая хризантема, подчёркивая осеннюю пустоту сада. В помощь ей отцок раскинулся роскошным розовым полукругом. И на верхушке мальвы красуется, раскачиваясь, алый цветок. Но вот берёзы во всей округе разом пожелтели. Нежно выглядывают из-за зелёных сосен. И на помелевшей Волге выступили новые острова.

Ах, как жаль, что лето прошло!

Хотя воробьи по-прежнему спокойно прыгают в траве, выискивая семена. Наблюдают с забора, вертя головками, за выдёргиванием того же укропа — не удастся ли чем-нибудь полакомиться?

Летом повседневные заботы о саде затеяют его обаяние. Но осенью расставаться с ним не хочется. Ещё бы пожить на даче!

Уезжая, увидели в чужом саду большую, раскидистую, уже в редких коричневых листьях, но щедро усыпанную красными плодами яблоню. Она, казалось, отчаянно бросала вызов нерадивым хозяевам, добавив капельку грусти и нам.

ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ, ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ

Глубокой осенью по дачным улицам бегают голодные собаки. Одна жёлтая маленькая сучка бежала за машиной до ворот. Кирилл отломил ей половину сладкого пирога, купленного к чаю. Я отдал пачку печенья, оставшегося с лета на даче. Хватая куски, она дрожала всем телом.

*Д*авно не разговаривал с Пашкой-сварщиком. Вдруг услышал, что он, оказывается, умер ещё прошлым летом. Уже и дача продана. Он любил гулять по дачным улочкам со своей собакой. При встрече тепло, по-товарищески, здоровался. Заводил неторопливый разговор обо всём на свете. Хороший был, одним словом, человек. Открытый, добрый, всегда готовый помочь по-соседски. Как-то приварил дверь к шкафу с инструментами. И денег не взял.

*П*рестарелый японец вернулся в зону риска во-круг Фукусимы-1. Кормит оставшихся там птиц, собак и ослика. Говорит, что молодым здесь находиться опасно, можно и облучиться. А ведь у них вся жизнь впереди. Он же думает только об одном — дожить бы на родной земле.

К соседу по гаражам, молодому парню, подползла дворняжка Люська, которую он несколько лет подкармливал. Без ноги, с отрубленным хвостом. Скорее всего, попала под поезд. Железная дорога проходит рядом. Сосед плюнул на дела, повёз её к знакомому ветеринару. Тот прооперировал, взяв деньги лишь за медикаменты. Парень отвёз Люську обратно в гараж, включил обогреватель, поехал за едой-водой.

*С*тарая женщина умирала в мучениях, ослепнув и обессилив. Бессмысленная затянувшаяся жизнь без всякой радости. Себе и близким людям в тягость. Но выросший правнук говорит, что любил бабушку.

Она его с улицы встречала, ручки ему целовала-согревала, была добра к нему и внимательна. Когда узнал о её смерти, сказал, что бабулю птички унесли на небо и долго горько плакал.

Дача соседей обветшала. Веет от неё заброшенностью, ненужностью. Жалко дачу. Но самих стариков жаль ещё больше. Вспоминаешь, как они радовались летней загородной жизни в расцвете своих сил. Всё чего-то сажали, поливали, пили чай на свежем воздухе, строили планы, иногда ссорились. В городской квартире жизнь в саду, верно, видится им золотым веком.

У знакомого преподавателя вуза в одночасье умер заведующий кафедрой. В молодости он неудачно женился, развёлся. Род свой не продолжил. Жизнь прошла в приёме экзаменов у студентов, консультировании аспирантов, писании учёных статей. Коллеги, ученики его и похоронили. Из родни пришла одна сестра.

*П*риятель-журналист в перестройку занялся книжной торговлей. Однажды нёс книги к отъезжавшему междугороднему автобусу. И вдруг почувствовал, что теряет ориентацию. Кто он, что делает, зачем? Стоял в растерянности на остановке со связками книг в руках. Подчиняясь звонку водителя по мобильному телефону: «Я уже отъезжаю, где книги?», приятель, словно во сне, подошёл к автобусу. По инерции передал книги. Водитель со словами

«Ну, а деньги будете брать?» сунул ему в руки конверт от клиента. Его предупреждали, что одна купюра разорвана, но искусно склеена. Этого в памяти не всплыло. В городском автобусе купил билет. Хотя в кармане лежал всегдашний проездной. Дома его ждал приехавший подлечить свои старые фронтовые и трудовые раны отец. О нём надо было заботиться. И память постепенно восстановилась.

Старый человек неудачно упал, получив перелом бедра. В операции отказали. Изношенный организм не выдержал бы нагрузок. Ему купили коляску, костыли. Чтобы крутить колёса и стоять на костылях у окна, нужны были сильные руки. Тогда он взялся за двухлитровые бутылки с водой и накачал себе бицепсы, каких у него не было и в молодые годы.

В школьном сочинении на тему «Кем ты хочешь стать?» он написал, что хочет стать директором завода. В классе посмеялись, впрочем, добродушно. Да хоть космонавтом! Мечтать не вредно. Но он стал директором авиационного завода. В стране бушевала перестройка. Людям одержимым в царившей тогда неразберихе многое удавалось. В обновление предприятия он вложил всю свою кипучую энергию. В поисках заказов изъездил полмира. Не помогло. С завершением перестройки испарились и последние надежды на новую жизнь старого завода. Оборудование разворовали. Землю сдали в аренду под торговлю. Бывший директор переехал в столицу, свое-

временно продал солидный пакет акций. Оправился от потрясений. Занялся мануальной терапией.

Немолодой уже поэт не чаял души в поздно родившемся сыне. Брал с собой на службу, провожал на занятия, включая институтские лекции. Как-то обронил в разговоре, что если сына заберут в армию, то он и в армию с ним поедет. Они часто рыбачили в волжских протоках. Затаив дыхание, вместе вслушивались в перекликающиеся птичьи голоса. Подрастающий сын разбрасывал по комнатам рифмованные строчки. Отец бережно собирал их. Потом из них вырос первый сборник стихов его сына.

В одном районном центре жил известный в тех краях пчеловод Алексей М. Он был мастером на все руки. В свободное время с успехом правил кузова у легковушек. Выстроил дом — просторный, хорошо продуманный. Почему-то он решил, что болен раком. Человек энергичный и дотошный, Алексей перепробовал все доступные ему способы лечения. И голодом себя морил. Дошёл, наконец, до молитв, составленных популярным подмосковным целителем. А умер от инфаркта, поужинав и прилёгши отдохнуть.

Фотограф А. всегда готов навести объектив, щёлкнуть и сделать, наконец, тот единственный снимок, который поразит человечество. В поисках натуры он исколесил на дорожном велосипеде всю область. Для него не составляет труда рвануть из города за семьдесят километров и запечатлеть очарова-

тельную лесную опушку или на редкость фактурного фермера. Всю аппаратуру он возит с собой в довольно увесистом рюкзаке. Постепенно он привык ходить с ним и на презентации, выставки и другие мероприятия. С рюкзаком за спиной он похож на черепаху, вставшую на ноги. Время от времени «черепаха» забирается на велосипед и крутит педали в сторону очередного края света.

Человек всю жизнь пробегал от лишней ответственности. Предпочитал, как он часто приговаривал, обходиться малой кровью. И на службе, и в семейных делах. Жена ушла, детей не завёл. Вышел на пенсию и оказался в изоляции. День за днём толчется между компьютером, книгами, музыкальным центром и чайником на кухне. И не пытается выбраться из этого заколдованного круга.

Обрусевший кавказец христианских корней. Пишет и публикует рассказы, подрабатывая, где придётся, на хлеб свой насущный. Постоянно живёт в России, и жена русская, но часто тоскует по малой родине. Со временем просторные сельские подворья, заросшие орешником окрестности, по которым бегал в детстве, леса, поля и луга, в которых когда-то охотился на зайцев и фазанов, благоухающие фруктовые сады и радушные односельчане стали представляться ему земным раем. Его кавказская половина требует подчёркнутого уважения к себе. А русская влечёт к житейской расслабленности, частым застольям и душевным разговорам, что, понятно, не способствует

накоплению богатств. Поэтому он по-кавказски широк, размашист, но беден, как русский интеллигент.

*Д*авно уже бывший муж по-прежнему рядом. Он не имеет прав на квартиру. Но выставить его, больного и немощного, на улицу она не в состоянии. Рядом и двое детей, ещё не устроившихся в жизни. В отличие от них, мать берётся за любую работу, получая копейки. И тянет год за годом всю эту безрадостную жизнь. Жалуется, плачет и продолжает тянуть. Не может скинуть с шеи хомут и выйти из непосильной упряжки. И сама не знает, почему.

В разгар перестройки его можно было увидеть зимой в центре города в огромных валенках и чуть ли не в армяке, подпоясанным кушаком. Так во времена бесноватые, пошатнувшиеся, он выражал свою русскость, православность. Последователей носить валенки и подпоясываться кушаком у него не нашлось. Но никто его и не упрекал. Ну, чудит человек, и пускай чудит, никого же не трогает.

*О*на была делопроизводителем в газете, хранителем архива. Сменилась эпоха. Закрылась газета. Амбарную книгу, куда десятилетиями записывала адреса, телефоны и дальнейшие успехи сотрудников, она взяла с собой. И ещё многие годы бывшие сослуживцы звонили ей, спрашивая о потерявшихся на запетлявшей дороге жизни коллегам. А она до последнего своего вздоха продолжала поздравлять их с днём рождения.

Интelligentный человек, подвыпив, подпирает щёку ладонью и заводит народные песни. С душой выводит знакомые каждому мелодии. Не важно где — в служебном кабинете, за стойкой рюмочной или на бульварной скамейке. Случайные слушатели слегка озадачены, но прислушиваются, невольно улыбаясь.

Ох, и широк же бывает человек. Он может трижды жениться, иметь четверых собственных детей, но воспитывать чужого. Азартно писать многословные исторические романы о древнерусских князьях, а прославиться документальной повестью, написанной просто и коротко о легендарном русском скакуне. Грешить потихоньку, подворовывать, топить ближних своих, но считать себя православным, да, пожалуй, и быть таковым.

Он с детства мечтал о небе. И стал лихим лётчиком-истребителем. Но рано демобилизовался по болезни. Тогда со всей страстью отдался писательству. Шумно и много издавался. Однако, в конце концов, оставил пылиться и письменный стол. Перестали платить гонорары! А вот охотничье дело не бросил. Потерял зрение, считай, полуслепой, но каждую весну собирается в заволжские степи на прилетающих гусей. И, бывает, не промахивается, когда мажет и глазастая молодёжь. И тогда он счастлив, как, может, не был счастлив ни в небе, ни за письменным столом.

В старинном селе Ягодная Поляна, говорят, никто не ворует. Строится православная церковь. Есть солидное акционерное общество. Оно поставляет в горо-

да молочную продукцию отменного качества. А ещё содержит табун лошадей и арендует густой берёзовый лес, полный зайцев, лис, кабанов и лосей. И много чего ещё, видно, в тех краях есть. Да нас там нет.

ПОЭЗИЯ

Валерий Кремер

СТИХОТВОРЕНИЯ

Осенним вечером дождливым
В круговращении природы
Легко грустить и быть счастливым.
Плывут дома, как пароходы.
Плывёт куда-то всё на свете,
Плывут диваны и торшеры,
Влюблённые, отцы и дети,
Старушки и эрдельтерьеры.
А дождь всё льёт, смывая с улиц
Тоску камней и страх утраты.
Как хорошо идти, сутулясь,
По мокрым улицам куда-то.
Пройти через притихший скверик,
Дойти до шумного вокзала,
Решить, что всё начнёшь сначала,
И даже этому поверить...

Куда-нибудь, где музыка играет,
И разговор продлится до утра.
Куда-нибудь, где двери открывают
И где добра не ищут от добра.
Куда-нибудь, где до рассвета можно
Уткнуться в голос, исповедь, плечо,
Где немота, забыв про осторожность,
Всю ночь поёт, не ведая о чём...

...И стала тишина навесом.
И нас укрыл безлистный лес.
И отдаленный ночи всплеск.
И птичий взгляд звезды над лесом.
И ночи медленной река
Все приближалась, все густела.
И мы вошли, в руке рука,
В ее мерцающее тело.
Сожми ладонь. Нам по пути
С рекою ночи, полной жажды,
Пусть дважды не дано войти
И выйти не дано однажды.
Ведь ночь — река, а не глоток
Расплавленного солнцем снега.
Сожми ладонь. Ночной поток
Впадает в утреннее небо...

Вальс для любимой

Падает снег, свет...
падает свет, снег...
День лишь тебя нет,
Кажется, нет — век.

Утра туман сед.
Медленен взлёт век.
Словно скользит свет,
Словно летит снег.

Где мы? Какой век?
Сколько прошло лет
Там, где летит снег,
Там, где скользит свет?

Кажется, нет бед,
Боли утрат нет.
Лишь бы ты жил, снег,
Лишь бы ты жил, свет.

Жив ещё наш век:
Таем — и вновь вверх.
Спит на снегу свет,
Спит на свету снег...

Всё ввысь и ввысь по лестнице надежд,
Срываясь, растворяясь в многоточьях.
По лестнице прозревших и невежд,
Наивных простаков и цепких ловчих.

Ты говоришь: «А почему не я?»
О близость губ судьбы, соблазн полёта!
Упрямая надежда бытия:
За поворотом ждёт иное что-то!
Всё ввысь и ввысь, пытаюсь обогнать
Свой крик. Пытаюсь повторить «однажды»...
Жизнь дарит больше, чем ты можешь взять,
Но меньше чувства утоления жажды...

Я — узник своего лица.
Я узник голоса и тела.
Но свету взгляда нет предела,
И зову света нет конца.

Дороги и слова провисли,
Но всё хранит душа твоя
Путь смертной оболочки мысли,
Летящей к тайне бытия...

Ты вся навстречу, словно дождь.
Ты улыбнёшься, проходя,
И по душе моей скользнёшь
Хмельною свежестью дождя.
Да будет радостен твой путь
По невесомому лучу!
Мы встретимся когда-нибудь:
В жару я ветром прилечу.
Кто сердцем тронул эту нить
Дождя, полёта и пути,

Тот знает, что дождю — дарить,
Душе любить, траве — расти...

Ничего не случилось. Ты утром выходишь из дома.
Как всегда. Город заспанный в сизом дыму.
«Ничего не случилось?» — привычно окликнет
знакомый.
«Ничего», — отвечаешь привычно ему.
«Ничего не случилось!» — кричат, обгоняя, трамваи.
«Ничего не случилось», — как отзыв, бормочут дома.
Стольких встреч избежала ты, спрятавшись,
не узнавая,
Закрываясь ладонью, что жизнь не случилась сама.
Но однажды все это отыщется и назовется,
Как до времени скрытая небом звезда.
Это глупо, быть может. Но вдруг затрепещет,
забьется...
А казалось, уже ни за что... никогда...

На бытие глядишь в тоске
И жаждешь мятежа,
А жизнь дрожит на волоске,
На острие ножа.

Мир — только замок на песке,
Пой вместе с ним, пока
Трепещет жилка на виске,
И мчатся облака.

О как поверить я хочу
Объятьям вечных крыл!
Я шел по звездному лучу
Сто раз. Я лишь забыл...

Не потеряй меня. Ведь это
Так просто. Проще, чем найти.
Пусть кажется, что все допето,
И трижды пройдены пути,
Мы не равны своим ответам,
И в этом есть спасенья нить:
Немного солнечного света —
И нас уже не победить.

Не плачь: все оживёт опять.
Залижут раны лес, река.
И ощутит твоя щека
Дыханья жизни благодать.
Обнимет вновь строку строка,
Моя ладонь твою найдёт,
Мы тоже лес и облака.
Ты слышишь: нами жизнь поет...

Прозрачна и легка вечерняя прохлада,
И не боится быть светящимся покой.
Моя душа — река, ей большего не надо,
Чем только плыть и плыть, чем только быть рекой.

Цветение боёв осядет вязким илом.
И будет день незряч, и будет ночь тяжка,
Пока не станет мир единственным и милым,
Под небом молодым, плывущим, как река.

Чем дальше от себя, тем слаще возвращенье
К истоку тишины, в свой океан родной.
Когда-нибудь и я войду в своё свечение,
И нежно тишина сомкнется надо мной...

Пускай остановить прощанье
И этой музыке невмочь,
Нас напоследок сблизит тайна,
Что окунает пальцы в ночь.
Поставь ещё... Она ответа
Не даст на поиски вины.
Она споёт о гранях света,
О переливах тишины.
Закружится перед глазами,
На вечность забежав вперёд,
И всё, что не случится с нами,
В ней всё-таки произойдёт...

Темнеет. Окна запотели.
Ты чертишь пальцем на стекле
Круги и линии. Без цели.
Не зная, что это. Во мгле
Таится город незнакомый,
Не тот, что наизусть учил.

Скажи мне, радость, где мы, кто мы?²
Зачем друг другу мы в ночи?²
Стоим глаза в глаза, и снова
Меж нами тайна, как ответ.
И мир еще не дорисован,
Недоцелован, не допет...

Вода небесная светла.
И ты, шепча: «За что мне это?»
В неё впадаешь, словно лето,
И пруд, и поле, и ветла.
Судьба пока не догнала.
Она еще тебя стреножит
Когда-нибудь. Но позже, позже.
Вода небесная светла.
Всё ранящее растворилось,
О, что так долго сердце билось,
Как бабочка о край стекла.
Вода небесная светла.
Мир не затем, чтоб стать увечным,
Но быть светящимся и вечным,
Раз выдохнуть душа смогла:
«Вода небесная светла!»

Льдин тающих последний караван
и солнечные блики на воде,
И крики чаек. Кончен твой роман,
Зима-молчунья. К радости ль, к беде

Опять травинки рвутся на простор
и не боятся, что затопчут их,
Как возвышенье истины простой,
Что подо льдом ход жизни не затих.

И белый день раскроет крылья,
И отворится синева,
И ты узнаешь без усилья,
Что жизнь права, права, права.
И в чистом небе растворится
Всё то, что мучило и жгло.
И ничего не повторится.
И ты поймёшь, что не могло.
Есть только путь вперёд и выше,
А оглянуться — значит, пасть.
Вглядишь, как голуби на крыше
Друг с другом милуются всласть.
Права на свете только нежность,
И нас целует небосвод.
А утренняя белоснежность
Сияет так, что сердце жжёт.

Время песнопения —
Странная пора.
Дай мне бог терпения,
Музыки с утра.
Подустали зрители,
Подпевая мне.
Ангелом-хранителем
Облако в окне.

Мы люди, а они деревья.
Ты слышишь эту тишину?
Я не вступаю в словопренья,
Я только трогаю струну.
Она остра, но так понятна,
Как лес, растущий в вышину,
Такой загадочный и внятный,
С одною жизнью на кону.

Вот и снова порог. Всё открыто для встреч и для
странствий.
Чуть шагнёшь — под ногами осколки бывшего хрустят.
Может быть, где-то там, в бесконечном прозрачном
пространстве,
Мне простят все грехи, если здесь никогда не про-
стят.
Душу всё ещё тянет назад, где болит и не клеится,
Где на камень коса, где родные друг с другом в борьбе.
Но увидишь: котёнок блаженно на солнышке греется.
Что ж ещё? Жизнь прекрасна сама по себе.

Спальный район. Обнажённое небо.
Лает собака, не зная зачем.
Я никогда безрассуднее не был,
Чем в этом счастье безумных ночей.
Только б подольше теперь не проснуться,
Так и лететь, растворяясь в тиши,
Только б коснуться, ещё раз коснуться
Этой родной, оголённой души.

Жизнь прекрасна, а ночь коротка.
Дай мне руку, любимая.
Видишь, вспыхнула в небе строка
Лучезарная, зримая.
Разлучимся, но так далеко
Это страшное таинство.
Так прозрачно, волшебю, легко
Всё, чего мы касаемся.
Не забудь, только ты не забудь
Ничего из прошедшего.
Только путь. Только пройденный путь.
И блаженство нашедшего.

Льётся нежный нетающий свет
Сквозь моё ледяное окно.
Это просто дано или нет.
Счастье, если дано.
Это тайна без края и дна,
Пролетая, взглянула в окно.
Для меня ты на свете одна,
И другой не дано.
Льётся голос сквозь наледь окна,
Сквозь пространства, миры и года:
Мой родной, я теперь не одна
Навсегда, навсегда...

Проливные дожди. Шелестящий покой.
Жди, любимая, жди. Помаши мне рукой.

Стану снова рекой и строкой, словно вдох.
Благодатный покой удивительных крох.
Неожиданность дня. Бесконечность пути.
Положись на меня. Ещё долго идти.
В тишине, в глубине. В непонятности дней.
Я в тебе, ты во мне. Значит, время мудрей
Наших дремлющих сил и остатков огня.
Я тебя так любил. Положись на меня.
Положись, прикоснись. Голова на груди.
Вновь приснись мне, приснись. Всё ещё впереди.

Воздух счастья горяч, воздух счастья упруг.
Ты лежишь, в тишину погружая лицо.
Никого. Ничего. И тепло моих рук
Охраняет твой сон, замыкаясь кольцом.
Ты, как птица, вспорхнёшь, улетишь поутру,
Но вернёшься сюда, где живёт тишина.
Где тебе, как подарок, тепло моих рук,
Где пульсирует небо в квадрате окна.

Под этим небом, под этим снегом
Мы будем вечно, ты меня слышишь?
Мы будем счастьем, мы будем бегом
Куда-то в чудо, где нас не сыщешь
И не поймаетшь и не стреножишь,
Не пригвоздишь, потому что воздух
Поймать нельзя. Он наполнен дрожью,
Весь в родинках и огромных звёздах.

Душа воспрянет, вновь почуя,
Как сладок воздух бытия.
Пропитывая и врачуя,
Он знает, что такое я.
А я не знаю. Только мучась.
Бегу сквозь время напрямик.
Таков удел. Такая участь.
Слепой, неумный ученик.
Но сила есть в пространстве взгляда
И в нежном шорохе травы.
Непобедимая прохлада
Необъяснимой синевы.

ПУБЛИЦИСТИКА

Иван Васильцов

БЕКЛЕМИШЕВСКИЙ ОСТРОВ

Баржа

Впервые на Зелёный остров — а речь пойдёт, конечно же, о нём — я прибыл на огромной пассажирской барже. Было это в сентябре 1979 года, отмеченного в хрониках волжской жизни небывало большим половодьем и небывало же большой убылью воды по осени. Поначалу я даже не поверил, что

такая огромная, неповоротливая посудина поплывёт по Волге. Людей, помню, собралось на барже видимо-невидимо. Вообще водный транспорт работал в ту пору бесперебойно: на тот же Зелёный или на Сазанку баржи и «омики» ходили через каждый час, и люди с удовольствием отправлялись на волжские прогулки целыми семьями. Вот и в тот денёк скамеек не хватало для всех и многие просто размещались на брусчатом настиле. Я заметил, что кое-где между досками прорастают зелёные травинки. Видно, «старушка» бороздила реку не один десяток лет.

Но вот торжественно и басовито возвестил о скором отплытии гудок, были отданы швартовы, и баржа, вволю потеревшись громадным боком о причал, как бы нехотя начала своё движение. Отец, человек наблюдательнейший и всегда учивший меня присматриваться к деталям, кивнул головой в сторону капитанского мостика — смотри, мол. Там, на возвышении, за штурвалом стоял очень полный человек, гордо, но уважительно глядя на воду. Это на пассажиров, скорее, он смотрел чуть свысока, с законной, так сказать, гордостью. Одет он был в просторную тельняшку. Колоритный был на нашей барже капитан, что и говорить. Он, как выяснилось позже, бывало, и обедал, не отлучаясь со своего капитанского места во время недолгих стоянок, он словно бы сросся с баржей, и сам, кажется, внешне походил на неё.

Когда мы очутились на фарватере, неповоротливое у берега судно наше как-то вдруг разогналось, половчело, попав, что называется, в родную стихию, и довольно-таки лихо принялось лавировать между

въякорившимися в русло реки лодками бесстрашных лещатников. Ох, и много же их стояло тогда на фарватере: резиновых лодчонок, утлых плоскодонок, основательных казанок! Капитан только и делал, что давал короткие, сердитые гудки. Но всё шло своим чередом, Волга жила своей привычной, размеренной жизнью. И её ритму подчинялась жизнь береговая. То тут, то там дымились рыбацкие костерки, босоногие мальчишки бежали куда-то по песчаной косе, лучистые солнышки поднимались над деревянными крышами. Чем-то обжитым, обихоженым, уютным веяло даже от обрывистого правого берега. Чувствовалась в этом неторопливом течении жизни некая постоянная величина. А может быть, чувство устойчивости передавалось пассажирам самой баржой? Может, баржа и была величиной постоянной?

Пару лет спустя, когда я уже знал «в лицо» чуть ли не каждую выбоинку деревянной палубы, поскольку мы с отцом принялись при любой возможности рыбачить на Зелёном, довелось мне стать свидетелем любопытного эпизода из жизни старой баржи. Представьте: тёплый августовский вечер. Начинает смеркаться. Бакены умиротворённо перемигиваются зелёными и красными огоньками. Ветер, шумевший днём, стихает и опадает, позволяя воде стать зеркально-тихой. И по этой стихшей, заснувшей почти реке, рассекая воду широким носом, движется наша старая знакомая. Люди, с цветами в руках, загоревшие и обветрившиеся за просторный августовский день, тоже чуть стихли — кто задумчиво смотрит на воду, кто неторопко беседует о чём-то с напарником

по рыбалке, кто просто лежит на палубе и смотрит на первые загорающиеся звёзды. И вдруг, словно бы из самой тишины, рождается перебор гармонии и льётся песня:

Настанет день красы моей,
Увижу белый свет.
Кругом вода и небеса,
А родины-то нет...

Старинная песня волжских рыбаков, отправляющихся на промысел к морю, потрясла меня тогда до глубины души. И что бы потом ни случилось в моей жизни, будь то радости или горести, я всегда помнил этот голос, будто бы голос самой реки, эхом доносящийся до меня сквозь время. Что случилось теперь с тем гармонистом, кто сможет сегодня подхватить эту песню, где ты нынче, наша славная, громадная, непотопляемая, наша родная зелёноостровская баржа?

Кругом вода и небеса,
А родины-то нет...

Дебаркадер

Дебаркадер на Зелёном острове всегда было видно издалека. Сначала на фоне золотой песчаной косы появлялось тёмное пятнышко, потом становились различимы контуры домика на воде, с дымком из трубы, а уж после, когда баржа или «омик» подходили

поближе, можно было рассмотреть даже узоры на занавесочках — два окошка в любую погоду смотрели на воду, будто бы ожидая гостей.

Обычно пассажиров приветствовал весёлый коренастый шкипер, в грубом, с высоким горлом свитере и бескозырке. Звали его, если не ошибаюсь, Алексей. Перед тем как принять трап, он обязательно делал раздольный, пригласительный жест рукой и провозглашал: «Вас приветствует Зелёный остров!» А когда пребывал в особенно хорошем настроении, добавлял ещё несколько восклицаний. Видя, например, спиннингистов, широко разводил в стороны руки и улыбался: «Да здравствуют щуки и судаки!» Поборников же тихой охоты встречал лукавой поговорочкой: «По грибы не час, и по ягоды нет, так хоть по сосновы шишки!»

Да как же я мог забыть! Ещё он звонил в маленький медный колокол, который речники называют гремком. Такой гремок имелся на каждом дебаркадере, перекочёвывал туда с палуб больших пароходов. На гремке зелёноостровского дебаркадера отчётливо виднелись большие буквы: СПАРТАК. И, приближаясь к Зелёному, пассажиры привычно прислушивались: оповестит ли об их прибытии и в этот раз знакомый гремочек? Оповещал исправно.

Чего только не было на дебаркадере! Две-три вязанки дров, рукомойник, обрывки сетей и, собственно, специальные крючки, чтобы сети эти вязать, верши, лодочные стлани, вялящаяся на солнышке сорога, вёсла, якоря разной тяжести и формы, багры, несколько трапов, конечно, спасательные круги, шесты для

промера глубин... Даже будка с собакой. Собаку, как сейчас помню, звали Титан.

Внутри дебаркадера довелось мне побывать лишь однажды. В яростную летнюю грозу шкипера укрыли нас с отцом, зарыбачившихся, от дождя и молний. В углу комнатухи, среди тряпок, рваных одеял, поломанных бамбуковых удилиц и всякого хлама я заметил что-то вроде потрескавшегося стеклянного цилиндра. Вспышка молнии так и отразилась в помутневшем от времени стекле. Оказалось, это часть старинного бакена. И Алексей, наливая чай в жестяные кружки из прокопчённого чайника, рассказал о своей работе, ещё в молодости, бакенщиком.

Островная жизнь кипела вокруг дебаркадера. Приплывали и уплывали лодки, причаливали пароходики, собирались завсегдатаи острова. Все знали друг друга по именам или, в крайнем случае, островным прозвищам. Шкипер Алексей, перевозчик дядя Гриша (кто ж из коренных саратовцев не помнит его?), лодочник Вениамин Петрович, островитянин Цыган, капитан дальнего плавания Прохоров, билетёрша тётя Люда — добрейшая синеглазая женщина с тихим голосом. «Тётъ Люд, здрасьте! Два взрослых и один детский!» — выпаливал я, запыхавшись, и неизменно слышал в ответ: «Вот, Ванечка, держи, рада тебя видеть».

Настала весна, когда «омик» причалил не к дебаркадеру, а к чугунному, холодному, какому-то диковатому и совершенно безжизненному пирсу. Не прозвенел над Волгой меднобокий гремок, никто не поприветствовал пассажиров шутками-прибаутками.

А от билетного киоска остался только проржавевший за зиму остов, который долго ещё напоминал всем о синеглазой доброй женщине с тихим голосом.

Иногда он снится мне, зелёноостровский дебаркадер. Я вновь приближаюсь к нему откуда-то издалека, различаю надпись: «ЗЕЛЁНЫЙ ОСТРОВ», узнаю знакомые силуэты шкиперов, осторожно ступаю по узенькому трапу, огибаю кнехты и оказываюсь внутри водяной избушки.

И слушаю рассказ настоящего волжского бакенщика.

Рассказ старого бакенщика

Зелёный остров-то не таким был. Он ведь большой, лесистый. А косы какие! Вон там и там, где теперь только вода, деревья коренились. А там избушка моя стояла. Давно на дне она оказалась... И русло петляло по-другому. Оно как бы раздваивалось, разбивалось об остров. На стрежне ни на каком якоре не устоять — снесёт! Вода быстро в Волге бежала, не то что теперь — болото! Да, так вот бакенщики всегда искали суводь — место на реке потише, где течняк не бурлит или где течение вообще обратно идёт, чтобы бакены-то не уносило.

Вот ты про фонарь спросил. А сколько маялись мы с фонарями этими! Мы называли их створными знаками. Внутри стеклянной болванки керосиновая лампа горела. И нужно было лампу заправлять, следить, чтоб огонь не потух. И в бурю выплывали, и в

штиль. Стёкла фонаря чистили, чтоб огонь, значит, издалека рулевым примелькивался. На чём к бакенам подплывали? Да ясно — на вёслах, не на моторах же! Тогда, в конце сороковых, никто и не слышал о них, о лодках-то моторных.

Жили мы сезонно — в скривищах или землянках, отвечая за свой участок реки. В навигационный ход спрос строгий! У меня в первую же мою путевую неделю такая вот, по неопытности, несподручность вышла. Бакен я зажёг, стёкла прочистил, а вот проверить кошку забыл. Кошка — это такой тяжкий груз, за счёт которого бакен-то и держался на месте. Ну вот, только до берега доплыл, гляжу — уж далёко он, огонёк-то мой, вниз по течению влекомый. Река ночная хоть и тихая, а струистая. Что делать? Снова на вёсла — и за ним, беглецом. Догнал-таки!

А ещё плоты много неудобств доставляли. Вот представь: идёт он по течению, широченный плот, а хуже того — кошма, ну, или несколько плотов вместе, а река-то в иных местах не шире. И приходится снимать бакены, пока не пройдут плоты. Иного выхода нет. Иначе ни одного бакена не останется. Поминай как звали. Легко сказать — снять бакен! А его, родимого, ещё и в обратную ставить нужно. Опять крепи перекладины, устанавливай вешки, топи груз, зажигай огонь...

Зато вечером, сплавив дела, хорошо-то как похлебать у костра стерляжью уху. Пробовал? А для бакенщиков это привычная еда была летом. И знаешь, стерляди много в Волге кувыркалось. Ловили же мы её на специальные стерляжки крючки, само-

дельные, длинные, очень острые и прочные. Привяжешь к бакену балберочку — значит снасть особенную, с крючками стерляжьими, безо всякой наживки. Стерлядка крючками блестящими в прозрачной воде играет, и, глядишь, одна-две и зацепятся. Бакен, он как вроде кормильцем был всегда, как родным вроде...

Стёклышки фонарные красили в красный и зелёный цвета. Были ещё белые и чёрные. Каждый цвет свой собственный судоходный смысл имел, то русло обозначая, то границу глыби и мели. Ведь и по сию пору бакены-то по цвету разнятся! Хотя теперь что — сами зажигаются, сами гаснут. На автомате. А я вот всё ж таки грущу по крестовинам, вешкам, стерляжьим крючкам, что теперь безо всякой пользы, потому как перевелась в Волге стерлядь, по разной нашей бакенной оснастке. И храню вот её у себя за чем-то...

Бакенщиков теперь не стало. Славное, почитаемое на реке было дело. Из рода в род передаваемое. И дед мой, и прадед ставили и берегли бакены. Ещё в ту пору, когда остров не Зелёным, а Беклемишевским назывался...

Беклемишевский остров

Вот тогда-то впервые я и услышал это название — Беклемишевский остров. И сразу же оно показалось мне удивительно созвучным окружающему меня островному миру. Слышалось, как шумят в нём ветра,

шепчутся о чём-то своём могучие дубы, скрываются поддубники и скрипят грузди, шелестит волжский песочек и перекатывается разноцветная галечка. Беклемишевский остров — это важные бакланы и отчаянные чайки-хохотушки, от пронзительного смеха которых бросает в дрожь; это кучевые августовские облака и пожарные октябрьские листопады. Это запах воды и древнего ила и стонное пение — знающие оценят! — всегда незримых лягушек-жерлянок. Щука ли ударит пятнистым хвостом на самой середине Щучьего озера, златобокий ли язь в протоке у Старого моста заставит биться сильнее рыбацкое сердце, сом ли великан поднимется июньской ночью из бездонного омута, чтобы разбить своим плеском лунную дорожку, — во всём этом угадывал я безошибочно островные приметы.

И лишь много лет спустя я узнал, что название любимого острова восходит к славной старинной фамилии Беклемишев, фамилии, неразрывно связанной с историей нашего края.

Имя Василия Пахомовича Беклемишева, коменданта Саратова, правившего в 1722—1727, 1737—1744 годах, хорошо известно историкам и краеведам. В беклемишевские времена население города росло, пополняясь за счёт купеческого сословия. Торговля процветала тогда на шумном волжском левобережье, куда приходили торговать калмыки и прочий степной народ. Было в городе несколько церквей, имелись канцелярия и магистрат. Впрочем, большая часть Саратова сгорела в чудовищном пожаре, начавшемся в ночь на 8 июля 1738 года.

Но другой огонь, весёлый и одновременно тревожный, озарял ночную Волгу 21 июля 1722 года, когда на Соколовой горе и Зелёном острове приказал Беклемишев разложить костры в честь прибытия Государя — самого Петра I. Пылали всю смоляные бочки, ровно горели поленья, вспыхивала, озаряя густую летнюю ночь, солома. По преданию, царю пришёлся по душе такой необычный приём, и он даровал Василию Пахомовичу «для забав и охот» Зелёный остров, который в народе с тех пор долго ещё называли Беклемишевским. Причём Государь плыл вдоль острова на струге — плоскодонном парусно-гребном судне со съёмной мачтой. И прямо оттуда, с воды, увидел впервые саратовский берег. А уж потом, наутро, осмотрел «строитель чудотворный» саратовскую пристань, побывал в Старом соборе и на Соколовой горе, откуда вновь любовался волжским пейзажем.

О том, сколь живописен был Зелёный — Беклемишевский — остров в далёкие времена, не в 17-м, конечно, но хотя бы в позапрошлом веке, можно судить по фрагменту замечательной в своём роде повести Корнелия Тхоржевского «Неохотники на охоте». Корнелий Владиславович Тхоржевский (1858—1896), герой Русско-турецкой войны 1877—1879 годов, родился в Саратове и через всю свою жизнь, полную трагических событий, пронёс любовь к родной природе, к Волге. Светом этой любви озарены его книги, очерки и воспоминания. В «Неохотниках на охоте» Тхоржевский рассказывает о том, как отправился он в свободный от военных учений летний

вечерок вместе с друзьями-офицерами порыбачить и поохотиться на один из волжских островов. По некоторым особенностям ландшафта и по расположению относительно города легко узнать в этом острове Беклемишевский. Вот как взволнованно и проникновенно пишет Тхоржевский:

«Что за прелесть стоять на перелёте в тихий, тёплый вечер! Я наслаждался. Да и как было не наслаждаться?! Кругом тишина: ветер не шелохнёт, не дунет, камыш, точно окаменелый, распустив свои мечеобразные листья, стоит неподвижно; озеро — гладкое, светлое — отражает в себе и берега, и небо... Солнце уже закатилось, но ярко-пурпурная заря ещё озаряет местность хорошо, придавая всем предметам розовато-фиолетовый оттенок; небо светло и ясно, как самая нежная бирюза... Воздух так чист и прозрачен, что видно вдаль на огромные пространства: видна цепь потемневших уже гор; виден, точно вырезанный из картона, чей-то домик, прилепившийся на самом хребте, видны гиганты осоко́ри на том берегу... Тихо, тихо... Так тихо, что... каждый всплеск рыбы, каждый самомалейший звук заставляют вздрагивать... Без всякой надобности, совсем произвольно начинаешь задерживать дыхание, боишься малейшим движением нарушить эту чарующую тишину...»

Однажды мы заночевали прямо на песчаном берегу острова, под открытым небом. Дело было в середине лета, повсюду — и справа, и слева — дымились рыбацкие костерки, отражаясь в ночной воде. Время от времени позвякивали колокольчики на дон-

ках рыбаков. Рыбаки переговаривались тихо, будто и впрямь боясь спугнуть тишину. Угомонились уже беспокойные моторки, уткнулись носами в берег плоскодонки, замерцали у причалов зелёными огоньками — огоньками покоя — «омики», устало вздохнув, заснули до завтрашнего утра трудяги-«утюги». И вправду «тихо... тихо...» Неожиданно я услышал странный звук, доносящийся откуда-то с фарватера. Усиливающийся, нарастающий плеск. Точно бы много вёсел одновременно погружались в воду и отталкивались от неё с силой, чтобы вновь погрузиться. Потом звук стал стихать и постепенно сошёл на нет. Тогда мы с отцом переглянулись, не сказали ни слова, но подумали, конечно, об одном и том же. И до сих пор я думаю иногда, что летней той ночью вновь подходил к Беклемишевскому острову струг Петра I.

Лодки и вёсла

Всю свою жизнь я плаваю на лодках. По запутанным водным тропкам караманских протоков, по синему пунктиру берёзовских разливов, неволью — не прогresti! — поднимал вёслами широкие листья сазанковских кувшинок, чертил узор лодочного следа по озерцам и озёрам. И лодки бывали разные. Нестойкие продолговатые «берёзки», особенно ловкие в узких местах, где, кажется, проплыть невозможно, уверенные в себе «кефали», устойчивые, быстрые, надёжные, хотя и сваливающиеся почему-то при долгой гребле на левую сторону; кургузые «ерши»,

не любящие лишних движений, зато лёгкие и неприхотливые...

И всё-таки настоящим лодочником — в подлинном, волжском, зелёноостровском, если угодно, смысле этого слова — я никогда не был. А вот знать таковых посчастливилось.

Представьте картину: тихое июльское утро, волжский залив, посреди которого, на урезе водной травы, примостилась рыбацкая лодочка. И появившаяся из-за поворота моторная лодка резко сбрасывает скорость, чтобы не нарушать тишины и не мешать рыбаку. Согласен, трудно представить. Сегодня трудно. Лихо рассекающие протоки океанские катера управляются чаще всего людьми со стеклянными глазами, не видящими и не желающими видеть вокруг ничего, кроме своей дорогой игрушки. Они и не слышали никогда ни про какую береговую культуру, им даже невдомёк, что огромные волны выбрасывают на берег рыбью икру, что нарушается хрупкое равновесие...

Мне же довелось видеть лодочников, вообще переходящих на вёсельный ход при въезде в заливчики или протоки. Врождённый волжский интеллект срабатывал, воспитанием и самой рекой дарованный. Такие люди и теперь остались, жаль только, что редки они стали уж очень. И вот вспоминается мне прежде всего дядя Гриша — главный, пожалуй, самый авторитетный и уважаемый лодочник Зелёного острова. Перевоз ведь всегда имел для островитян особое значение, даже в ту пору, когда «омики» и баржи ходили исправно. На барже ведь что — на барже

только до дебаркадера доберёшься. А огороды, к примеру, у многих притуливались к самым дальним уголкам острова, куда без лодки — никак. И тут приходил на помощь дядя Гриша. Идеально зная систему островных протоков, озёр, заливов, он в любую погоду доставлял нуждающихся точно по островному адресу. Причём, если большинство перевозчиков брало за такую дополнительную работу 15 копеек, то дядя Гриша — только 10. Никто не спрашивал, почему. Так было заведено испокон, и всё!

Дядя Гриша был фигурой колоритной, почти мифологической. В своё время он прошёл войну и вернулся домой без руки. Обычно, особенно ранней весной, когда ещё зябкие утренники, черёмуховые холода, набрасывал он на плечи тёмную куртку, и странно было видеть, как пустой рукав её шевелится на ветру. Однако же с лодкой управлялся он удивительно легко, лодка его слушалась, как если бы была приручена.

Немногословен был дядя Гриша, но шутку-прибаутку отпустить мог, или, скажем, притвориться, что забыл дорогу, особенно если видел, что среди пассажиров есть новички. Мог и ругнуться к месту, а вот грязной, бессмысленной брани от настоящих речников я никогда не слыхивал. Они умели и умеют говорить просто, но ёмко и образно.

Как-то ближе к августу дядя Гриша вышел на дебаркадер, чтобы поймать парочку судаков на уху. Взял самодельный спиннинг, забросил в синюю воду самодельную блесну, лёгкую, латунную, очень похожую по движению на живую рыбку, и замер в ожидании. Какой-то залётный рыболов с разноцветными

импортными телескопами (тогда ещё в новинку!), желая показать свои познания в рыбацком деле, не удержался и дал совет: «Вы леску-то на катушку наматывайте, это же не донка!» Ответ дяди Гриши мне запомнился на всю жизнь: «Ты наматывай, что хочешь на что хочешь. А я-то на молчание ловлю». Понимаете, «на молчание», то есть тихонечко, едва покачивая спиннингом. Надо ли говорить, что через каких-нибудь пару минут зеленоватый судак упруго скакал по брусковатому дебаркадерскому настилу.

Сердце

Только однажды посчастливилось мне побывать на Зелёном — Беклемишевском — острове зимой. Именно посчастливилось. После метелей да лютых морозов с нестерпимым на воле северным ветром установилась ясная, солнечная погода. И вот в составе довольно-таки большого отряда рыбаков-зимников я пересекал заснеженную Волгу на лыжах. Белоснежное волжское плато преобразилось, заиграло под весёлыми лучами, лыжня звала и звала вперёд. А впереди ждал и манил нас Зелёный остров — зимний!

Далеко же мы забрались тогда, до самой Бочки донесли нас лыжи. Бочкой островитяне и все знающие рыбацкое дело называют отмель посреди глубоких, бездонных даже волжских мест. К бочке всегда выходят из глубин на охоту баснословно крупные окуни.

Торопливо отбрасываю валенком пушистый снег, расчищая, стало быть, место для будущей лунки — маленького иллюминатора-окошечка в беззвучный подводный мир. Если заглянешь туда — глаз не оторвёшь. Галечка катится по дну, зелёная прядь донной травы извивается на течении. А вот и тень грозной рыбины метнулась в сторону.

Мормышка утекает в луночку, и ты чувствуешь, что связан с великой тягой реки, с её душой и сердцем — от самого рождения. И река одаривает отчаянно любящих её сыновей горбатыми краснопёрыми окунями.

А потом мы всё так же, на лыжах, идём назад, уставшие, впечатлённые, полные зимнего света. И души наши светлы. И солнце, кажется, тоже катится-бежит с горочки, опираясь на невесомые свои лучи. Оно быстрее нас, и начинает смеркаться.

Пройдя залив, делаем передышку. Прямо под столетними дубами. Сейчас мы в самом центре Зелёного, как раз между главной протокой и крайним мысом.

— А здесь, — показывает мне на едва уже заметную просинь в снегу старый рыбак по прозвищу Генерал-майор, — здесь бьётся сердце острова. Положи руку и прислушайся.

Он никогда не был генералом и даже майором, он прошёл всю войну рядовым, а о Победе узнал в госпитале, очнувшись в июне сорок пятого после тяжёлого ранения.

— Чуешь, стучит, бьётся? Это ключ вроде подземный. А всё же на сердце очень походит.

Я отбрасываю в сторону рукавицу, опускаю ладонь на обмятый, просевший снежок. «Тут-тук-тук...» — передаётся моей руке едва уловимый пульсар.

Давно уже нет на свете Генерал-майора, не стало и моего отца, с которым прошли мы Зелёный остров вдоль и поперёк.

Но когда мне трудно, или обидно, или тяжело, или, наоборот, когда очень-очень радуюсь чему-то, я снова и снова ощущаю тот глубокий, тот жизнестойкий ритм. Нагрывает весна, тронутся льды, засинеет щедрое половодье, и настанет время вернуться на Зелёный, Беклемишевский, любимый остров.

Юрий Сидоренко

РУССКИЙ ВИНОГРАД

Как-то на телеканале «Культура» показали документальный фильм: «Виноградники Лаво. Швейцария». Сказочная панорама. Альпийское предгорье. Голубой кристалл Женевского озера в окружении многосотметровых гранитных берегов. По крутым склонам — виноградные террасы, устремлённые в небо. Местная лоза — наследница древних римлян, хотя сами террасы строили уже монахи. У входа в одно из селений, Сен-Сефоран, — камень, датированный пятьдесят третьим годом нашей эры. Из под

слоя веков проступает первозданный облик сельской винодельни. Вековой деревянный пресс, деревянные туфли, бочки из тысячелетнего дуба. Время здесь будто замерло, замороженное божественной природой. Но рубиновая струйка вина в бокале, окрашивая губы, возвращает вас из бездны времён в день сегодняшний.

Когда долго стоишь на высоком правом берегу Волги, в какой-то миг возникает ощущение полёта. Далеко внизу необъятные волжские просторы. То там, то здесь мелькают яркими снежинками стайки белых чаек. Снежная яхта в серебристом блике волн. Разогретые солнцем крутые берега в зелени садов, ныряющих в синь реки. Панорама почти швейцарская. Разница в отсутствии виноградников. Климат, увы, не тот. В Лаво средняя годовая температура плюс двадцать, а у нас близка к нулю.

О культуре винограда известно больше, чем о любом другом растении. Можно сказать, известно всё. Сортов десятки тысяч. В каждой стране, в каждой местности свои. И только Русского винограда вы не найдёте ни в каталогах, ни в энциклопедиях. Ни сорта, ни вида такого винограда там не значится. Но Русский виноград, как вид, существует! Есть и новое растение, известно и имя его создателя.

Это — Александр Иванович Потапенко (1922 — 2010 гг.), выдающийся учёный и селекционер, почитаемый знатоками и любителями виноградной культуры. Биолог, историк, художник, писатель, философ, фронтовик. Автор четырнадцати книг, в том числе научной монографии «Биорегуляция расте-

ний», поэтической «Старожил земли русской», философской «Тело и дух — загадочный тандем матери», исторической «Русь и Хазария». Но во всех ведущая тема — виноград.

Мои поездки в село Оленье в Волгоградской области, где в последние годы жизни обосновался Потапенко, как-то незаметно для меня стали традицией. А в 2009 году в Оленьем я даже побывал трижды, ведомый оказией или предчувствием.

Первая поездка пришлось на жаркие майские дни. Сухие песчаные вихри носились по селу, навевая грустные мысли. В тени + 35С и винограднику уже не хватало воды. С поливом здесь проблема.

— Чуть бы ниже, — сетует Александр Иванович, — вон на том берегу для виноградника все условия. — Он показывает рукой на другую сторону километрового водохранилища. — Тогда и полив не нужен. Два метра до воды, виноград за год дотянется корнями. Сажай, делай шпалеры и через три, пять лет собирай урожай. Увы, никому это не нужно. Ни государству, ни фермерам. Картофель и помидоры — дальше фантазия не работает.

— Но если есть новые сорта, — возражаю, — значит, будет и спрос. В России, известно, не быстро запрягают.

— Мы более шестидесяти лет пытались создать лозу, устойчивую к нашим зимам. О положительных результатах я написал еще десять лет назад. А в ответ — тишина, — так, кажется, у Высоцкого.

— А кто и когда выращивал в наших северных регионах виноград? Нет ни опыта, ни понимания пара-

метров сорта, его функциональности, ни винодельческих навыков. Всё это ещё предстоит нарабатывать. Хорошо ещё, что у нас есть садоводы-любители. Они выращивают ваш виноград в Приморье, в Сибири, на Урале, в Москве, Туле, Нижнем Новгороде, Смоленске, Саратове. Последователи есть. Их много.

— Наследников мало. Тех, кто широко понимает виноградную культуру, задачи, масштаб. Многие уходят безвозвратно. Природа не бывает должна. Она — кредитор. Но если она адекватна нашим мыслям, чувствам, которые бедны, то каких милостей от неё ждать?

Я смотрю на просыпающуюся лозу, на нежнейшую зелень первых почек. Близость зеркального водохранилища в сотне метров рождает иллюзию водного благополучия. Но с водой, увы, действительно туго. По крайней мере, на отдельно взятом винограднике. В летнее время водопровод во всех домах работает на полив огородов. А дом Потапенко в конце улицы.

Пытаюсь шутить по поводу «водяной засухи», мол, «у воды и не напиться», но шутка получается невеселой. Александр Иванович хмурится. Закончена книга об атмосфере Земли. И, возможно, она тоже причина его настроения.

— Для предотвращения парникового эффекта климатологи предлагают распылять серу на высотах тридцать-сорок километров. Предложение нелепое, связанное с непониманием причин ухудшения климата. — Александр Иванович смотрит пристально, впитывая реакцию собеседника. — Истоки человеческих

болезней в психике. То же — и с атмосферой. Её катастрофическое состояние вызвано травмированием её биологических свойств. Но кто это понимает? Объяснение, конечно, необычное. Связано с биологическими процессами, а это, фактически, влечет реформирование всей теоретической биологии. Тут уже недолго прослыть сумасшедшим.

Жарко. Жмёмся в тень. В доме, бывшей колхозной конторе, прохладно. Картины маслом, карандашом, акварелью. Портрет отца — Ивана Павловича Потапенко. Портреты Мичурина, Тимирязева, брата Якова. Пейзажи. Лес. Великий Дон. Панорама берегов с радужными волнами донских виноградников, сцены сбора урожая, донские казачки. Сцены сельской жизни, природа, лица.

Схваченный миг под рукой художника замер с такой энергией света, солнца и самой жизни, что, кажется, готов в любой миг вновь вспыхнуть, раскрыться навстречу мысли, чувству. Как виноградная лоза.

Каким же зрением надо обладать, чтобы разглядеть в дикой амурской лозе домашнее растение?! В таких задачах «утонуло» не одно поколение селекционеров. Это что-то вроде строительства многокилометрового канала одной отдельно взятой лопатой. И здесь без веры, без ощущения перспективы не обойтись.

Считалось, что донские виноградники начались с Петра Первого. Однако благодаря тончайшему историческому исследованию «Русь и Хазария» узнаём, что донскому виноградарству — тысяча лет! Это стало

открытием даже для таких авторитетных историков Хазарии, как М.Артамонов, Л.Гумилёв, С.Плетнёва. При содействии Гумилёва и была опубликована в 1976 году книга А.И. Потапенко «Старожил земли русской» — документальная поэма о русском виноградарстве.

— Да, виноград — уникальное растение. Другого такого нет. Он пробуждает не только ум и сердце, но даже историю. Он синоним жизни! Её цель и путь, если хотите. Кто понимает виноград — понимает всё. «Я есмь виноградная лоза, а Отец мой — виноградарь. И всякую лозу, не приносящую плода, Он отсекает». Строки, едва ли не самые загадочные в Библии. В них и глубочайшая сакральная тайна виноградной лозы.

Этот весенний разговор с Александром Ивановичем весь сезон не выходил у меня из головы. Впрочем, как и многие другие наши беседы.

— Такое у него свойство — будоражить сознание, — Людмила Павловна порой делилась подробностями семейной жизни. — С первого дня, как вышла за него замуж, так и просыпаюсь от стука пишущей машинки в пять-шесть утра. Какая ему разница? Он заведён на дело. Помню его письма с фронта, которые он писал брату Якову. Тот работал уже во Всесоюзном институте виноградарства и виноделия в Новочеркасске. Брат ждёт писем, беспокоясь, что у него и как. Фронт, война. Но в письмах одно и то же: «Проследи на втором поле за третьим рядом сеянца номер 2-3-7». В следующем письме: «Проследи за пятым рядом сеянца 2-5-11». И так всю войну.

Есть сорта, знания, увлечённые селекционеры. Но нет виноградников, соразмерных Русской равнине. Об этом думает поколение, прошедшее коллективизацию, войну, «светлое будущее». Оно ещё успеет что-то сделать, подсказать.

Когда еду в сторону Волгограда, невольно отыскиваю взглядом места, где могли бы раскинуться виноградники. Всё правое и левое побережье Волги от Саратова до Волгограда, включая Камышин, — идеальное место для виноградной лозы. И обратно — до Хвалынска.

Километровая полоска вдоль Волги, в размерах одной Саратовской области — это уже сотни тысяч гектаров, а если принять в расчёт малые реки, наберётся до миллиона! Резерв астрономический, сравнимый с Францией, Италией.

Конечно, в калейдоскопе социальных экспериментов трудно устоять традициям. Однако народ всегда при деле, даже когда и делать-то, кажется, нечего. И, наверное, потому виноград шагает всё дальше на север. Правда, он пока ещё тот, южный, требующий укрытия на зиму. Хотя Русский виноград, выдерживающий сорокаградусные зимы на заборах и беседках, уже есть.

Специалисты знают, что сок из амурского винограда за день-два поднимает с постели больного гриппом. «Группа здоровья» любого винограда — полифенольные соединения, которых тысячи. Полезность в их неразрывном союзе. Они же — «шлагбаум» на пути любого внешнего воздействия на лозу. Токсичные вещества, радиация, механическое по-

вреждения, инфекция, ультрафиолет, аномальная погода — каждый сорт всё это переваривает по-своему.

Но сильнее всего на лозу влияют жара и холод. Почему главных веществ в амурском винограде в сотни раз больше, чем, к примеру, в Каберне Совиньоне, при всём моём глубочайшем почтении к этому поистине мировому сорту. Всё на поверхности. В южной лозе солнце, ультрафиолет, жара — половинная составляющая, ведь низких продолжительных температур в традиционных виноградных странах не бывает. Разовые форс-мажоры с погодой не в счет. Сорт слагается не за день. Амурскому же винограду и жары, и холода за века хватило с избытком. Отсюда и всё его лечебное богатство.

Становится понятным глубокий смысл слов Потапенко о том, что «амурскому винограду лучше оставаться самим собой». Как, впрочем, и всем другим особо полезным северным растениям.

В село Звереве Лукояновского района Нижегородской области мы с приятелем приехали, зная о местном промышленном винограднике. Это в десятке километров от Пушкинского Болдино. Владелец местного садового питомника Владимир Александрович одним из первых в России высадил амурские сорта Потапенко. Климат здесь, конечно, не виноградный. «Степь. Зимой до минус сорока двух. А что делать?» — задает Шиблев сам себе вечный русский вопрос. — Потапенко решил задачу. Наша — сберечь, удерживать, вывести на поля».

Осень 2009 удивительная. Такой погоды, солнечно-тёплой, до самого декабря, что-то не припоминаю. Меня опять тянет в Оленье.

Перечитываю письма Александра Ивановича. «Жить без винограда можно, но это в некотором роде будет не жизнь, а существование. Цивилизации, создававшие художественные ценности, — это, прежде всего, виноградарские цивилизации. Завершил работу над текстом. В общей сложности она продолжалась 60 лет. В жизни я не считался с трудностями и затратами, но высказать верную точку зрения в нескольких газетных публикациях и примитивно изданных книжонках совершенно недостаточно».

В письмах наболевшие мысли, рождённые жизнью, но не всегда понятные даже родным и близким. Мысли, выкристаллизованные длинными, утомительными зимами, когда двухмесячное бесснежье под минус сорок не позволяет даже высунуться из дома. А надо еще и дров наколоть, и коз накормить.

Полные грусти и надежд письма, с пониманием противоречий человеческой природы и с вселенской болью за всё живое. Союзников много, когда всё легко и просто и цель близка, но когда дорога длинна и результат неочевиден, спутники отстают. Лишь неколебимая вера в своё дело — ориентир на нескончаемом пути.

Саратов — Волгоград. За окном автобуса всё те же пустующие поля. Взгляд, как и год, и пять назад, конструирует виноградные опоры, стройные ряды шпалер на жарких волжских склонах. Взметнётся ли на них к небу амурская лоза?

Просёлочная дорога к дому Потапенко. Соседние заборы, увы, голы, как осенние деревья. Виноградная лоза обжила только один, тот, к которому направляюсь.

Александр Иванович, худенький, невысокий, с палочкой, неровным шагом устремляется навстречу.

— Вот, координация движений уже не та. Каждый прожитый год — как подарок. Что скажете про нынешнюю осень?

— Великолепная! Созреет любая лоза. Даже перегруженная урожаем. Как она в этом году?

Пойдёмте. Сейчас всё сами увидите.

Медленно переходим с одного участка на другой. Две собаки сопровождают каждый наш шаг.

— Мои верные спутницы. Куда я, туда они. Ну, ладно, идите-идите, погуляйте!

Минуем трёхметровый палисадник, вступаем в сад. Грядки с сеянцами, взрослые кусты. Разглядываю чистую листву, иногда пунцово-алую, как у дикого амурца. Лист небывалой красоты, такой только в амурской тайге и встретишь. Трогаю его шагренисто-бархатную поверхность, небольшую фиолетовую кисточку под ним. Ягодки сладкие, с необыкновенно глубоким, родниковым, вкусом. Невольно закрываю глаза, вслушиваясь в неожиданные оттенки вкуса. Перехожу к следующему кусту и натываюсь на чёрную виноградную стену из гроздей. Амурский Прорыв. Я наблюдаю здесь этот сорт пять лет. Но такую виноградную стену вижу впервые. Листва успела облететь и большие кисти по всей длине шпалеры,

чуть ли не вплотную друг к другу, заворачивают. Земля бедная, песок, суглинок, и такое чудо!

Довольно крупные ягоды, сладкие, почти приторные, с приятной глубокой кислинкой. На кусте минимум сто килограммов.

Александр Иванович в упор смотрит на меня, словно впитывая мою реакцию и, наверное, все мои ощущения. Улыбка на его лице, как итог, — удовлетворён! И тут же словно спорит сам с собой:

— В Европе технические сорта, идущие на вино, жёстко ограничивают в плодоношении. Не более килограмма на куст! Великие вина, как столетние дубы, вмиг не рождаются.

— Да, да, где-то читал, что от большого урожая хорошего вина не жди.

— Здесь всё другое. Будущим фермерам надо ещё понять, почувствовать новый виноград. Его мощь, урожайность, вкус, своеобразные оттенки вина. В нём лучшее, что вообще есть в винограде. Он мало в чём нуждается. В том сезоне было пять сухих месяцев, без единого дождика. А он вот! Такой урожай преподнес!

— У нас появились и белоплодные формы, — увлечённо продолжает Александр Иванович. — Амурский виноград формируется как самостоятельный вид. Русский зимостойкий виноград. Выращивай его на шпалере, на любой опоре без всякого укрытия. Минус сорок для него, как и для Русской равнины, — уже проходной балл. Сажай, собирай урожай, делай соки, джемы, изюм, вино, варенье. Амурский

готов к любым модификациям. Вы мне только скажите, что происходит с погодой?

— С погодой? А что с погодой? Она живая, как все мы, реагирует на наши мысли, настроение, на всё то, что мы с нею творим, — я цитировал его слова, которые давно стали моими. — Живое отвечает живому — всё естественно.

— Вот-вот, а почему учёные этого не понимают?

— Ученые выполняют заказ, за который платят. Понимают, увы, немногие: свободные художники, пенсионеры, юродивые.

— Скорее последние.

Я не возражал. Его книги, беседы открыли мне виноградную культуру как нечто глубоко живое, чувствующее.

Как красивы на фоне осеннего золота фиолетово-чёрные кисти! Тёплые, упругие, живые, с чарующим вкусом. С трудом отрываешь от них взгляд.

До автобуса час. Александр Иванович перехватывает мой взгляд и без слов идёт в дом. Выходит с книгой «Климат и тайна двух биосфер», буквально днями вышедшей из печати. Подписывает первую страницу. Разглядываю его перетруженные, узловатые, поражённые артритом пальцы. Как утёс, крупный высокий лоб. Белые, как мел, редкие волосы. Но глаза живые и быстрые, как ртуть, с долгим пронзительным взглядом.

«Господи, — мелькает мысль, — как велик этот невысокий худой старик в своём бескорыстном, титаническом стремлении увидеть Россию виноградной державой! И как бесконечно одинок».

Литературный альманах «Впечатления»

Редактор — Виктор Бирюлин

Контактный телефон: 8-927-110-48-39

Дизайн обложки – Владимир Мошников

Тексты для публикации принимаются
по электронной почте:
victor.biryulin@yandex.ru

Присланные материалы не рецензируются

Подписано в печать 23.09.2014 г.

Формат 60 84 1/16.

Бумага офсетная. Шрифт AcademyC.

Усл. печ. л. 11,63. Уч.-изд. л. 5,86.

Тираж 100 экз. Заказ № 1492.

Отпечатано в типографии

ООО Издательство «КУБиК»

410056, Саратов, ул. Чернышевского, 94 а

Тел.: (8452) 60-33-20

© «Впечатления», 2014

© Издательство «КУБиК», 2014